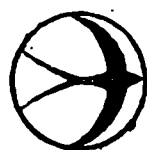




В. Горюшков

В хвойном море



НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОГО

Григорий Боровиков

В хвойном море

Рассказы

«Современник»

Москва

1977

Боровиков Г. Ф.

Б83 В хвойном море. Рассказы. М., «Современник», 1977.

176 с. (На обл.: Новинки «Современника»).

Старейший саратовский писатель Григорий Боровиков известен читателю по многим вышедшим книгам. Его рассказы постоянно печатаются в периодической печати.

К 70-летию писателя выходит новый сборник «В хвойном море», в который войдут рассказы «Макар, телячий сторож», «Курган», «Киря», «На болотах» и другие.

Рассказы Г. Боровикова отличает доброта и теплый юмор.

Б $\frac{70302-246}{M106(03)-77}$ 7-77

P2

Кирия

1

Следы были свежие: лосиный и волчий.

Кирия подумал: «Далеко не ушли». И хоть ему очень хотелось домой, в теплую избу, он надвинул потуже шапку, поправил пояс, на котором висели в чехлах топорик и нож, заложил в ружье патроны с картечью и пошел по следу.

Лыжи скользили легко, и Кирия шел накатистым шагом, не теряя следа. Вот волк выбегал наперерез лосю, но, видно, не успел напасть, и следы опять смешались. Только бы нагнать Кире волка, не дать зарезать лося. Что бы там ни говорили ученые, что, мол, волки убивают старых и больных животных и тем очищают природу от падали, как санитары, Кирия думал по-своему: лосей, оленей, косуль и зайцев он жалел, а волков люто ненавидел.

И сейчас в нем вспыхнуло зло на волка. Он вообразил, как тот вонзил клыки в горло лосю и как это царственное животное рухнуло, а хищник рвет трепетное горячее мясо. Судя по следам, волк был матерый, опытный.

Следы спустились в крутой овраг, затерялись в чащобе ольховника. Кирия сунулся в заросли, но лыжи застряли, пришлось выбираться назад и кружить, пока снова нашелся след. Кирия ускорял шаг. Погода была тихая, с легким морозом, сухой снег не прилипал к лыжам. Лес стоял погруженный в застывшую тишину, какая бывает в серые зимние дни. Только поскрипывали крепления лыж да шуршал под ними белый, осыпанный редкой хвоей снег.

Постепенно Кирия втянулся в ходьбу, ощутил, как го-

рячает под полушубком тело и разливается по нему усталость, как влажнеет под шапкой лоб.

По соображениям Кири, он гнался за зверем уже часа два, а может, и больше. По знакомой местности он определил, что прошел километров десять.

И вот след вывел его на поле, и он увидел сразу волка и лося. Волк трусил посередине поля, а лосиные рога метнулись в мелколесье и скрылись.

Кирей овладел острый охотничий азарт, дрожь прошила тело, и вспотели пальцы, сжимавшие ружье. Волк прихрамывал на правую переднюю ногу. Кирия понял, что теперь все будет зависеть от того, кто окажется сильнее, выносливее: лось, волк или он, Кирия.

Волк скрылся в лесу. Поле Кирия пробежал что было силы, а лесом двигался опять размеренно. Ни волка, ни лося он теперь не видел, но это не беспокоило его. Важно, что хищник ушел недалеко.

Следы то расходились, то мешались, то огибали деревья, то терялись в кустах. Кире приходилось выбирать путь поудобнее, и он не раз петлял, как заяц. Ему стало жарко, пот струился по лицу, в глазах все двоилось и дрожало. Расстегнув ворот полушубка, он почувствовал на груди холодный обжигающий воздух и с новой силой устремился вперед.

Опять он вышел на то же поле и снова увидел лося и волка, успел заметить, что расстояние между ними сократилось. И опять пришлось ждать, когда лось, а за ним и волк скрылись в лесу, и опять быстро бежать через поле, чтобы остаться незамеченным. Когда он оказался под прячущими его елками, то дышал прерывисто, с присвистом, хватая воздух широко открытым ртом. Бывало, тридцать — сорок километров проходил Кирия без отдыха и не знал ни одышки, ни усталости, а сейчас расслаб. «Стар стал, никуда не пожусь», — ворчал он на себя.

Пошел поровнее. Внимание его было направлено на один, нужный ему след. Лось бежал в сторону кордона. Это не удивило егеря. Животные, расплодившиеся в заказнике, привыкли ходить к стожкам сена, посыпанным солью, которые расставлял на зиму Кирия недалеко от своей избы. Там лосей никто не беспокоил, вот рогач и бежал туда под защиту человека.

Так и оказалось, как предполагал Кирия. Следы про-

пали на тропе, проложенной зверями. Тут уже невозможно было разобрать, кто топтал тропу, она была протоптана сотнями копыт и лап. Но вот что-то заставило лося свернуть с тропы и бежать по глубокому снегу в сторону от кордона.

Вскоре след привел к озеру. Засыпанное снегом, оно лежало в круглой котловине с пологими берегами, на которых непроницаемо чернел старый ельник. Ни лося, ни волка Киря не увидел, а только разметанный снег от их ног.

Вспомнилось, как минувшей осенью пошел Киря поохотиться на уток. Шел перед вечером по берегу озера. Было тихо. И увидел: крупный лось пил воду. На другом берегу озера подавала жалобный голос лосиха. Рогач поднял голову и замер. С бархатных губ его падали капли воды. Вдруг он вздрогнул, налился силой и ринулся в озеро. Киря прокрался берегом туда, откуда доносился зов лосихи.

Она стояла под осиной, щипала листья и время от времени зазывно взмывала. Когда рогач вымахнул из озера, отряхнулся и побежал к ней, она отошла, не подпуская его к себе. И в то же мгновение выскочил другой, молодой самец и ударил соперника копытом в грудь. Разошлись быки в стороны, потом как бросятся друг на друга!.. Рога — в рога, лоб — в лоб... Стук, хряск, топот... Постояли недолго, будто задумавшись, потом отпрянули назад и опять так сшиблись, что даже застонали оба. Бока у них так ходуном и ходили, из ноздрей вылетал хрип, глаза окроvenели от ярости.

Дрались долго. Наконец молодой самец на какую-то малость опередил противника и так ударил, что тот осел на передние ноги, хочет подняться, а соперник не дает, в бок копытом бьет. Озверел совсем молодой, разорвал старику бок до мяса и с трубным победным ревом — к лосихе. И она повела его за собой в лес. А старый рогач опустил на задние ноги, тяжело и громко дышал. В глазах его горела смертельная тоска...

Вспомнив это, Киря подумал, что и этот бык, преследуемый волком, тоже отвергнутый, потому и живет одиноким. Сейчас лоси ходят парами после осенних свадеб, и рогачи оберегают стельных коров.

Его умиляла преданная забота самцов о своих подругах, о потомстве, и он был уверен, что это похоже на

человеческое чувство любви и дружбы. И сейчас старый лось вызвал в нем особую жалость.

«Не повезло, брат, тебе, живешь бобылем... как я. Плохо это, по себе знаю, — мысленно обращался он к рогачу. — Меня тоже оставила жена. И сын при мне был, а вырос и ушел в свою жизнь. Тут свой закон. А жить-то хочется всем. Тебе страшно волку в зубы попасть. Хорошо еще, рога не сбросил: защитное оружие, а вот сбросишь, тогда хуже будет». Киря уже изнемогал от усталости. Как назло, стала болеть поврежденная на войне нога. Всегда вот так после долгой ходьбы. Отдохнуть бы, и боль пройдет. Но отдыхать никак нельзя: упустишь хищника и потеряешь лося.

А день тем временем кончался, под деревьями стало пасмуреть. Киря заторопился, стараясь перетерпеть боль, в конце концов она когда-нибудь уймется.

Снова он увидел волка неожиданно. Увязая в глубоком снегу, хищник уже не бежал, а переваливался с зад на перед, из раскрытой пасти висел язык. Киря вскинул ружье, но зверь повернулся к нему задом, и стрелять стало неудобно. Выругав волка, Киря начал красться, держа ружье наготове. Зверь уходил.

И опять потянулось время, и опять метался след по склонам, овражкам, чапыжнику. Умаялся Киря, а изловчиться для стрельбы не может... Но вот расстояние до волка стало в меру выстрела, и виден он весь ничем не загороженный и бежит не шибко, а так, впритруску. Киря крикнул. Волк остановился, подняв голову и поворачиваясь на крик. Этого хватило Кире. Он прицелился под левую лопатку и, затаив дыхание, выстрелил. Волк осел задом, потом рванулся, прыгнул и повалился на бок. Он был еще жив, когда Киря подкатился поближе, лязгал зубами, смотрел на человека злыми и страдающими желтовато-зелеными глазами, пытался прыгнуть, но всякий раз падал в окровавленный снег. Киря не мог без жалости смотреть на мучения зверя, прицелился в лоб между глаз и спустил курок.

Волк был старый. Один клык у него сломан, а другой затупился. Киря оттащил тушу под сосну, сел на корточки, привалясь к стволу спиной, снял шапку. От головы его повалил пар.

Настали сумерки. При свете костра Киря снимал волчью шкуру.

— Попался, вонючий разбойник! — выговаривал он хищнику миролюбиво. — У нас тут вашего брата нет, перевели. Откуда ты забрел, старик? Тоже несладко и тебе приходилось. Волчицы от тебя отшатнулись: стар для них, в стае стал лишний. Вот и жил бродягой, один добывал пропитание. Стаей-то лося догнали бы и порешили. А один ты не смог: стар, да и одна лапа когда-то сломана была, видно, в капкане побывал.

Разговаривать самому с собой или с животными и зверями у егеря стало привычкой с тех пор, как он остался один на кордоне. Поживи-ка месяцами молча! Сейчас разговор с мертвым волком веселил его, подымал в своем мнении: все-таки спас лося.

Сняв шкуру и свернув так, чтобы удобно было нести, Киря вытер руки снегом, закурил. Теперь он почувствовал страшную усталость во всем теле и голод. В кармане у него была краюха хлеба и луковица — обычная закуска, которую он брал, отправляясь в обход. Вкус обветревшего хлеба и сочная луковая горечь возбуждали еще больший голод, и он жевал самозабвенно, ощущая, как в теле растворяется что-то бодрящее.

Пламя играло в костре, от него шло тепло и запах дыма. И ночной лес был Кире уютен и понятен, как была понятна в этот день жизнь.

2

В пятницу вечером приехали из города охотники: трое мужчин, бывавших тут прежде, и незнакомая женщина. Показали бумагу — разрешено убить одного лося.

— Веди, Кирилл!

— Поведу... только... — Егерь запнулся, глядя на женщину в штанах. «Зачем ее-то принесло? Обед сготовить или еще что?»

Охотники догадались, о чем он думает, и самый почтенный, рыхлеющий уже Лавр Петрович улыбнулся:

— Не бойся, она не испортит охоту, она опытная. Зарема, покажи ему билет.

Женщина ответно улыбнулась Лавру Петровичу, вынула из нагрудного кармана куртки охотничий билет. Киря развернул книжечку, прочитал: верно, охотница. Зарема приняла билет, глядя в лицо Кире. Он смутил-

ся: «Красивенькая баба и вся ладная, а глаза неверные, завлекательные... Имя какое-то чудное».

Поужинав, охотники легли спать на топчанах с соломенными тюфяками. Женщине Киря уступил свою кровать за дощатой перегородкой, а сам забрался на полати.

Рано утром, еще до свету, охотники повскакали и перед тем, как пойти в лес, решили закусить, вынули из рюкзаков водку, колбасу, консервы, выпили по стакану. И Зарема выпила немного. Угощали Кирю, но он отказался:

— Не люблю я водку, а перед делом тем более.

Его не неволили. Поел он только городских закусок.

Пока охотники собирались, засовывая за пазуху свертки с бутербродами, опоясывались патронташами, доставали из чехлов ружья, надевали белые халаты, Киря заглянул в конюшню, подложил в колоду сена и налил теплой воды, погладил лошадь по шее, потом вынес из сарая четыре пары широких и коротких лыж. Пальма визжала, металась по двору, кидала лапы на колени Кире, мешалась под ногами.

— Ишь, почуяла охоту. Не возьму тебя, и не просись, — сердито говорил Киря. — Нельзя тебе, тяжело, щенят повредишь.

Он завел собаку в избу, оставил ей еды и питья, выйдя со двора, запер за собой ворота.

Киря вел охотников к озеру, где, по его предположениям, должен был обитать спасенный им старый лось. Знал он, что лоси живут оседло и редко покидают облюбованное место, если достаточно корма.

Когда меж деревьев всплыло над землей оранжевое солнце и на снег лег тревожный брусничный свет, охотники были уже далеко от кордона в глухом лесу. Шли молча. Стали попадаться лосиные тропы. Проходя мимо стога сена, спугнули рогача с лосихой, и один из охотников сорвал с плеча ружье. Киря грубо остановил его:

— Нельзя! У вас в бумаге что написано? А? Отстрелять быка не моложе шести лет. А этот трехлеток да со стельной коровой ходит.

Пристыженный охотник повесил ружье на плечо, но Киря долго еще не мог успокоиться и ворчливо поучал:

— У кормушки-то пара пустяков взять животное. А то еще у проруби. Устройся в засаде и жди, как придут

покормиться или на водопой, бей из засады в упор, не промахнешься...

Дошли до озера. Киря остановился на том месте, где он оборвал жизнь волка. Кровь на снегу пожелтела, клочья шерсти смерзлись.

— Что это? — спросила женщина.

— Волка взял я тут, — равнодушно ответил егерь и пошел, внимательно вглядываясь в следы.

Наконец привел куда надо.

— Значит, так... — начал он объяснять тихо. — Один пойдет со мной в загон, а троих я поставлю на номера.

Идти в загон никому не хотелось, каждому лестно было стрелять.

— Что уж пререкаться-то, — с осуждением вполголоса произнес Киря. — Жребий все решит.

Сняв шапку, он положил в нее три спички с обломанными головками и одну целую, перетряхнул.

Охотники вынули спички. Идти в загон досталось самому молодому, черноусенькому Виктору.

Привычно развел Киря стрелков по местам, называемым «номерами», наказал укрыться за кустами, не шуметь, не сходить с места без его команды.

— Гнать будем с той стороны, — он показал на редкий осинник. — Будет удача — завалите быка, не будет — никто не виноват.

Сам Киря не особенно надеялся на удачу. Каждую зиму приезжают охотники, а никогда еще не бывало, чтобы убили разрешенное число лосей. Если бы было позволено бить любого и где попало, тогда другое дело. А выследи-ка старого быка да возьми его на свободе. Тут уж как повезет.

С Виктором перешли озеро и осторожно скользнули на лыжах по сухому накатистому снегу. Киря выбирал путь по приметам, известным одному ему, и Виктор не раз шептал в спину:

— Долго еще мы будем петлять?

Киря оборачивался на ходу, бросал:

— Не знаю.

И опять скользил неторопко, но споро.

Прошло немало времени, позади остались ельники, березняки, сосняки, кулиги смешанного леса, овраги и поляны. У Киря заныла больная нога, он остановился, морщась от боли, выдохнул:

— Нет лося.

— Почему? — с неудовольствием отозвался Виктор. — В обществе считают, больше двухсот голов в заказнике-то.

— Может, и больше.

— Значит, не туда привел.

— Не поведу же туда, где пасутся семейные лоси. Ищу одинокого, намеченного.

Закурили. Острый дым, вдыхаемый вместе с холодным воздухом, колот в груди, кружил голову.

— А эта женщина... как ее? — спросил Киря. — Кто она?

Виктор загадочно улыбнулся, прежде чем ответить.

— Зарема — женщина отчаянная. С Лавром Петровичем в экспедициях бывала. Сотни километров пешком ходила, а верхом на лошади и не сосчитаешь. На лодке по бурным рекам плавала. Говорят, на медведя охотилась.

— Бывалая, значит.

— Да.

— Жена она Лаврентию Петровичу или так?

— Не поймешь. Он своей жене отставку дал, устареела для него, но будто бы не развелся официально-то, а с этой живет... хотя квартиры у них — у каждого своя.

— Ну, бог с ними! Я ведь так спросил: первый раз увидел, любопытно знать. — Замолчал, замкнулся, думал: «Катя сколько лет в лесу со мной прожила, а ни разу из ружья не выстрелила. А эту тянет к охоте. Это что-то уж не бабье».

Потом сердился на себя, что приезжая женщина не выходит у него из ума.

— Смотри! — прошептал Виктор и замер.

Глаза Кири метнулись следом за рукой Виктора. На расстоянии двух выстрелов шел рогач. Старый, какой был нужен. Лось шагал спокойно, вскинув горбоносую голову с коряжистыми рогами. У молодой липы он остановился, откусил ветку, пожевал, тронулся дальше.

— Ну, удача! — В ухо Виктору прошептал Киря и руками показал, как должен пойти Виктор и как пойдет сам егерь. — Я крикну, так и ты начинай шуметь. Свисти, кричи, пой. Лось от шума будет уходить. Авось не пройдет мимо стрелков. Ну, беги, летом!

И покатались по лесу человеческие голоса, звук их

то стлался протяжно, то дробился рассыпчато и отзывался по-зимнему скупым эхом. Загонщики шли так, что каждый видел лось и не давал ему уйти в сторону. А лось шел по знакомой тропе к стогу полакомиться сеном и, казалось, не замечал людей и не чуял опасности, поджидавшей его за озером.

Но вдруг он свернул с тропы, махнул по целине, удаляясь влево. Киря побежал наперерез, чтобы заставить его повернуть вправо. Лыжи проваливались в недавно выпавшем, еще не осевшем и не уплотнившемся снегу. Лось побежал крупным шагом, раздвигая рогатой головой ветви, и скрылся из глаз. Недалеко надсадно кричал Виктор. Киря велел ему замолчать и подозвал к себе.

— Убежал.

— Что будем делать? — растерянно спросил Виктор, сбирая изморозь с усиков.

— Не все пропало. Будем догонять по следу, а как увидим — возьмем в вилку и направим куда надо.

— Я совсем заблудился, не знаю, в какой стороне охотники.

Киря взмахнул рукой.

— Там.

— Эх, куда он нас завел. Тяжело идти целиной-то.

— Да, снег некаткий, не то что старая лыжня. Ну, пошли!

И началась погоня. Знал Киря, что лось не пуган людьми, а всего лишь немного потревожен и далеко уйти не должен. Но может водить за собой и день и больше. У них такая повадка: увидит человека — отойдет и остановится. Попробуешь к нему поближе подобраться — он опять отойдет. Не убегает и не подпускает к себе. Такого легче всего загонять на охотников. А как поведет себя этот? Угадай-ка!

Как будто назло Кире лось оставил след меж густо поникших ветвей, и они больно хлестали по лицу, царапали, цеплялись за одежду. Егерь не переставал удивляться великану лесов: по болоту, где человек не пройдет, лось шагает будто по твердой земле. И густые заросли раздвигает могучей грудью, как траву.

Прошел, должно быть, не один час. Лоб у Кири взмок, и по спине, по желобку позвоночника, скатилась холодная струйка пота. Ныла нога, и ремень ружья больно давил плечо. Сзади сопел Виктор. Киря досадо-

вал на себя: плохо стал ходить на лыжах, раз горожанин от него не отстаёт.

Конечно, егерь не обязан быть в загонщиках, можно бы потом проверить, кого убили: самку или малолетка, в случае чего составить протокол и представить к штрафу... Все это так, но животное не оживишь... Все равно как с лесом. Вошли деревья в спелость — вали, руби, не давай на корню умирать, пусти в дело древесину. А неспелое дерево не трогай. Это понимают промысловые охотники. Те — народ серьёзный, у них охота — работа. А городские для развлечения охотятся, эти так, свистуны. Слово «свистуны» Киря считал оскорбительным и награждал им людей пустяшных, легких.

Опять подумалось о женщине в дубленом полушубке. Стоит за осинником на «номере» и, наверное, щекочет себе нервы ожиданием... Хотя Киря устроил охоту по правилам и честно хочет нагнать лося на стрелков, но живет в нем скрытая надежда, что бык пройдет на виду у охотников, да недосыгаемо для пуль. Хорошо бы так-то. Пусть бы погулял еще. Умереть успеет. Волку не дался, значит, силенка еще водится. А охотники что ж? Пульнули бы в вольный свет впустую, потом постреляли бы зайцев и тем довольны бы остались. Так бывало с другими...

На опушке, перед оврагом, они наконец заметили лося. Егерь тихо обошел его краем леса, кроясь под ветвями, задудел в сложенные корытцем ладони. Лось повел головой, увидел человека и спустился в овраг, который тянулся к озеру.

— Иди, Виктор, правым берегом, а я левым. Так и доведем его до озера, а там встретят.

Овраг был пологий, на дне его пробивался из-под снега ручей, росли ивы, и тут любили пастись лоси.

Спустя некоторое время, когда животное величаво вступило в осинник, Киря остановился и дал знак Виктору сделать то же самое. Было тихо. Иногда пробежит волной ветер, качнет деревья, и с них посеется снежная пыль. Обломится под тяжестью наледи сучок, мягко упадет в сугроб, и снова торжественный покой и тишина. От этой тишины и от быстрой ходьбы у Кири звенело в ушах. Он слышал токи крови в своем теле и биение сердца. От старого дуба, к которому он привалился, пахло свежо и крепко: так пахнет кадушкой, пропаренной

перед засолкой овощей. Во рту защекотал знакомый вкус хрустящей, чуть закисающей вилоквой капусты и пупырчатых огурцов с душком чеснока. Киря сглотнул слюну, чувствуя нестерпимый голод.

И в это время резко хлопнул выстрел, за ним второй. Стайка снегирей выпорхнула из подлеска, сверкнув красными пятнышками, скрылась в чаще. Звук выстрелов катился и постепенно замирал. Киря подождал, не будет ли еще выстрелов. Лес молчал.

— Виктор! Сюда!

Шли вяло, усталые и равнодушные к охоте. Виктор размышлял вслух:

— Интересно, промазали или убили?

— Свалили.

— Почему так уверен?

— Стрелял кто-то один дуплетом. Если бы промазал, так другие палили бы. Городские охотники всегда так.

Издали донеслись голоса. Слова доходили неразборчиво, но ясно было, что говор там шел быстрый, веселый.

— Э-эй! — крикнул егерь. — Не стреляй!

В ответ отозвалось успокоительно:

— Иди, не бойся.

В осиннике топтались мужчины, а женщина сидела на туше лося, держа меж колен ружье. По глазам было видно, что она переполнена радостью.

Первым делом Киря осмотрел раны на туше, похвалил стрелка: пули попали в голову и в грудь, положил руку на пах, ощутив живое тело потом глянул на рога.

— Тот! Мной спасенный... с обломанным отростком на правом роге. — Помолчал, покачал головой, вздохнул: — Эх, какого красавца сгубили!

Понимая, что убийство старого лося дело обычное, Киря все же огорчился. Ему и самому приходилось убивать на охоте, но всегда он испытывал при этом горькое чувство и стыд.

Лавр Петрович, с пунцовым, по-женски мягким лицом, отвинтил от фляги пробку, подал Зареме складной стаканчик, налил.

— Полагается выпить на крови. За твою удачу, дорогая!

Зарема выпила одним духом, приняла из рук мужчины бутерброд, стала жевать жадно.

— Это она его, — пояснил Лавр Петрович, и по лицу его растеклось улыбчивое ожидание похвалы женщине со стороны мужчин.

Егерь понял его, но ответил сдержанно:

— Я сразу догадался, Лаврентий Петрович.

— Сколько раз тебе говорить: не Лаврентий я, а Лавр... понимаешь, Лавр. Есть такой кустарник: благородный лавр.

— По-нашему, по-деревенски, Лаврентий.

Зарема крикнула:

— Хватит о ерунде спорить! Налей, Лавруша, егерю... ему полагается по заслугам вторая: он нагнал зверя.

— Животного, — поправил Киря со скрытым чувством неприязни к ней и выпил стаканчик водки. К нему потянулись руки с закуской, он отмахнулся: — Спасибо, не надо... Вот что... вы тут бражничайте, а я пойду за лошадью, надо свезти тушу да шкуру снять, пока мясо парное.

— Иди, мы ждем.

3

В русской печке отбушевало пламя, и на загнетке вишневым цветом рдели угасающие угли, покрываясь пушистым пеплом. По избе плавало благостное тепло с запахом промороженных овчинных полушубков и дымившейся на столе вареной лосиной печенки.

Лавр Петрович вышагивал по крашеному полу в неуклюжих валенках, обсоюженных резиной от автомобильной камеры, во фланелевой рубаше с расстегнутым воротом. Весь расслабленный, поглаживая рукой оплывшие алые щеки, сказал громко:

— Прошу к столу, дорогие!

Из-за перегородки неслышно выскользнула Зарема, сонно потянувшись, оглядывая всех виноватыми глазами.

— А я немного подремала.

Лавр Петрович притянул ее к себе, потрепал по спине.

— Вот поедим — и на боковую.

Копошившийся в мешках Виктор понес на стол бутылки. В избу вошли Киря и четвертый охотник, нераз-

говорчивый отставной полковник, который серьезно про-изнес по-военному:

— Разрешите доложить: шкура посолена, сложена и перевязана.

— Хорошо посолили? — спросил Лавр Петрович.

— Как надо, — ответил за полковника егерь.

Зарема торопила обедать, заглядывая в миски с соленой капустой, огурцами и помидорами, нюхала дрожащими кругленькими ноздрями и потирала руки.

— Вот это тоже пойдет. — Киря поставил на стол чугунок с вареной картошкой.

— О-о, чудо! — Зарема захлопала в ладоши. — Виктуар, Лавруша, полковник, Кирилл, садитесь же скорей! Полковник, хватит вам мусолить руки мылом... у охотника они должны пахнуть порохом и кровью.

Наконец все уселись. Командовала застольем Зарема:

— Все должны выпить до дна за мои выстрелы, иначе я обижусь.

Мужчины загудели вразнобой:

— За удачу!

— За Зарему!

— Дай бог не последний раз!

Один Киря выпил молча.

Ели с аппетитом, возбужденно и громко вспоминали охоту. Зарема, захмелевшая с первой стопки, старалась всех перекричать:

— Я как увидела его, так всю меня и затрясло... Волнение такое острое... И жутко и радостно. Затаилась и жду. А он идет почти прямо на меня. Ну, думаю, счастье такое редко бывает... Нацелилась в грудь, а сама опять жду, пусть поближе подойдет. И вот он надвигается на меня. Тут я ка-ак жахнула из правого ствола, и он упал на передние ноги, застонал. Тогда я из левого ствола в голову. Качнулся он и повалился на бок. Вдохнул громко, только и всего... Наливай, Виктуар!

Наполнив стопки, Виктор поклонился Зареме.

— Предлагаю выпить за меткий женский глаз.

Выпили «за глаз». Потом выпивали за «твердую женскую руку», «за мужественное женское сердце», за женщину, украшающую жизнь.

С печенкой еще не разделались, а Киря вынул из печки кастрюлю.

— Отведайте это.

Все взяли по кусочку мяса, попробовали и потянулись еще, нахваливая необыкновенный вкус блюда.

— Лосиные губы, — сказал Киря. — Самая вкусная часть лосятины.

А на дворе уже темнело. Охотников разморило, потянуло в сон. Разговор вязался вяло, необязательно. Вскипел самовар. За чаем Лавр Петрович стал жаловаться Кире на то, что положено мясо и шкуру сдавать государству, а охотникам достаются только рога, голова, ноги да потроха.

— Мясо-то ведь за деньги сдадите, — заметил Киря.

— Не в деньгах дело, — возразил Лавр Петрович. — Лестно мне было бы гостей лосятиной попотчевать.

— А мы сдадим и тут же попросим продать нам мяса, — нашла Зарема, и Лавр Петрович одобрительно закивал ей:

— Да это само собой, как же иначе?

Разомлевшая Зарема с усмешкой спросила:

— Говорят, Кирилл, у вас жену увели?

— Это коров или лошадей со двора воры уводят, а женщины сами уходят, своей волей.

— А почему другую не возьмете?

— Другую мне не надо: двух одинаковых не бывает, — резковато произнес Киря, и лохматые брови его сдвинулись к переносице.

Тотчас же после чаепития повалились на постели, не слыша, как Киря то выходил из избы, то входил. Он дал корму лошади, проверил в будке Пальму — не ошенилась ли и не холодно ли ей. Последние дни он держал собаку в избе, но сегодня Зарема сказала, что не может без отвращения видеть чуть не до пола отвисшее собачье брюхо с торчащими сосками, и Киря увел Пальму в будку, постелил ей потолще сена. Потом натаскал в избу воды, закрыл вьюшки в печке, залез на полати.

На топчанах с присвистом и бульканьем в горле храпели мужчины, только за перегородкой тих был сон женщины. Кире очень хотелось спать, но боль сверлила ногу и все тело корежила зудящая ломота. Ворочался, укладываясь поудобнее, ненадолго легчало, а потом опять всего пронизывала усталость, грызла кость пулевая отметина.

За перегородкой слышалось сонное бормотание За-

ремы. Киря усмехнулся: «Зарема! Придумают же имя! Какое-нибудь настоящее имя исковеркала. А Виктора она: «Виктуар». Чудят люди. Видать, ухарь-баба... и ядовитая. Мало радости от такой. Ох, Лаврентий Петрович, хоть ты и ученый, а того... ума тут не хватило. Не задержится она долго около тебя. Хоть ты и пылинки с нее сдуваешь, а не задержится».

Спят охотники. Пахучая тишина плотно набилась в непроглядную черноту избы, она наваливается на Кирю, вползает ему в уши, закрывает глаза.

4

С утра в воскресенье охотники побродили вблизи кордона, застрелили трех зайцев. Егерь записал им в путевку и лося и зайцев и отвез их с добычей на железнодорожную станцию. Домой вернулся к обеду, разогрел остатки вчерашней печенки и картошку, стал поднимать самовар и почувствовал резкую боль в пояснице, едва не обварил себя кипятком.

Сидел скрючившись на полу, постанывал, жаловался Пальме, тревожно смотревшей на хозяина печальными рыжими глазами:

— Прострел.

Преодолевая боль, согнувшись, добрался до стола, кое-как поел без всякого удовольствия и лег на постель, приложил к пояснице бутылку с горячей водой.

Болезнь эта случалась с Кирей и прежде и проходила от лечения теплом. Бывало, Катя, жена, истопит баню, сведет его, нахлещет распаренным в квасе веником, натрет нашатырным спиртом, и, глядишь, через день он здоров.

Бутылка приятно угревала спину, понемногу успокаивала боль, и по всему телу тихо разливалась нежащая лень. И мысли Кири медленно плелись в нехитрый узор. Вспоминалось прошлое. Настоящее, повседневное было просто, как необходимость, которую не обойдешь пешком и не объедешь на лошади. А думать о прошлом он любил.

На то, что минуло, Киря не был в обиде, и оно оживало ярко, выпукло. Настоящей свою жизнь он считал с той весны, когда воротился с войны. Был он видным

парнем, работающим, смирным, что в родной деревне ценилось высоко. Сельская жизнь в ту пору была трудной, деревня за войну отошала, кормилась скудно. Перед войной Киря не успел стать ни трактористом, ни шофером, а одни только руки его, без головы, стоили недорого. Ему же мечталось обзавестись семьей, окунуться в новую жизнь.

Подвернулось место егеря в лесных угодьях, отданных областному обществу охотников, и Киря оказался в лесу с женой, восемнадцатилетней Катей, хлебнувшей нужды и лиха, по ее выражению, «выше ноздрей». Зажили вдвоем на кордоне хорошо, свободно, сами себе хозяева. Огород развели, сад фруктовый посадили, корову завели, повеселели. И жизнь ласково манила все к лучшему. Все дни и ночи были вместе, только и слышалось молодое, игривое: «Киря!..» — «Катя...».

Когда родился сын, на сердце Кире пала дума: вырастить себе на смену егеря. Любил он лес ранней весной, когда прилетали птицы и неумолчно пели, щелкали и свистели в распускающейся листве, призывно крикали утки и гоготали гуси на озерах и болотах. В летний зной лес наполнялся запахом хвои и грибов. Любо было Кире косить на полянах пеструю в разноцветье траву, а потом сгребать духмяное сено. Осенью лес оголялся и становился прозрачным, как бы редел и раскрашивался в такие дикие цвета, что рябило в глазах. После первых ночных заморозков копали картошку, рубили капусту, готовили запасы к зиме-прибирухе.

Охотники начинали приезжать в конце августа. Киря разводил их в шалашики, устроенные им в зарослях тальника и куги по болотинам. Пальба напоминала егерю военные фронтовые дни. Охотники ненадолго вносили в тихую жизнь кордона веселую суету. И прибыль небольшая была от них: покупали овощи, молоко.

Забыла про нужду Катя, расцвела красотой, о какой Киря и не мог подозревать, когда женился. Сама плотная такая, верткая, глаза так и стригут все, румяный заггар на лице пылает, язык никак не уймется, все говорит, говорит, да вперемежку со смехом. Доволен был женой Киря — больше некуда.

Пришла пора сына в школу отдавать. Жаль было родителям расставаться с любимцем, да ничего не поделаешь — время такое, что должен каждый образование по-

лучить, без этого нет в жизни ходу. Устроили сына в селе у родственников и опять вдвоем остались. Жизнь проходила в каждодневной работе и была наполнена разумным движением к простой и ясной цели. Тогда Киря этого не замечал, а теперь, в одиночестве, не только понимал, но и считал ту пору счастливой. Мечты прошлого ожили и причиняли душевную боль, возвращая его в те дорогие дни.

Сына видели редко, когда отвозили ему продукты или в каникулы. Приезд сына был для родителей самым большим праздником. Катя закармливала его лакомой едой, а Киря таскал с собой по лесу, показывал лосей, косуль, озера, поросшие осокой, из которой с пугливым кряканьем вылетали утки, учил различать следы зверей на земле, угадывать по голосам птиц. Мальчик делал вид, что все это ему интересно, но отцовское чутье улавливало иное: сын выслушивает по обязанности, а в сердце у него не вспыхивает ожидаемой отцом искры.

Побыв недолго дома, мальчик начинал скучать, с тоской говорил о том, что его товарищи сейчас в пионерском лагере, где много развлечений, игр, походов, кино. Ясно стало: ему нужны товарищи, у него начиналась своя жизнь. И повелось так, что сын все реже стал бывать дома даже в каникулы.

Незаметно таяли годы. Сына после сельской школы пришлось устраивать в городскую. Город сделал то, чего не смог сделать Киря со своей отцовской любовью: юноша душой прирос к другой, незнакомой егерю жизни.

Став взрослым, сын иногда приезжал в гости с женой. Его рассказы о работе на заводе не возбуждали интереса у Кири, а сына не занимали егерские дела. Серьезного, душевного разговора не получалось, толковали о разном, казавшемся Кире пустяковым, далеким от души.

Дождлся Киря внука. Катя чуть не на всю зиму уехала в город помогать снохе, а летом привезла внука. В душе Кири запело что-то молодое, он увидел себя в новом существе, радовался и печалился одновременно, потому что в народившемся человеке было продолжение его жизни и уже начавшийся исход из нее. Внук стал ему самым дорогим из всех родных, и хотелось сказать ему что-то напутственное на все его годы...

В этом месте кончались светлые воспоминания — и

начинались горестные. И как он ни пытался освободиться от них, злая память цепко держала всё до мелочей и терзала душу.

Когда уехал сын с женой и внуком, стал Киря замечать за женой неладное. Делает, делает она что-нибудь и вдруг замрет, смотрит неподвижно в одну точку туманными глазами, пока он не окликнет ее:

— Катя, ты что это?

Встрепенется пугливо, как будто захваченная врасплох на плохом деле, потом ответит:

— Так, ничего.

— Может, надоело тебе жить в захолустье, скучно стало?

— Что ты! Тут хорошо, тихо.

Успокаивался Киря таким ответом, не донимал расспросами.

Осенью опять поехала Катя к сыну, повезла домашнего варенья, грибов сушеных, яблок ядреных, лежких — в зиму. Через две недели вернулась, и не узнал ее Киря: с лица спала, грустная и молчаливая сделалась. Только заикнулся, что, мол, такое с ней, а она — в слезы. Поплакала досыта, потом заговорила тихо, но твердо. Выслушал Киря и качнулся, вот-вот упадет. Сел на скамью, голову в руки уронил и просидел так-то не один час. Еще бы, наверное, сидел, да услышал голос Кати:

— Я не могла скрывать. Чего уж скрывать-то, раз беда приключилась.

Знал он, что Катя правдива до жестокости, и поверил каждому слову ее.

— Может, просто согрешила, минутную бабью слабость проявила, так это попробую пережить.

— Не было греха, не было! — иступленно закричала Катя и опять заплакала. Сейчас слезы ее были тихие, будто в лад с неторопливым признанием, так не вязавшимся с только что вспыхнувшим клятвенным криком: — Ты обо мне плохо не думай... да и он человек порядочный... Вдовый, бездетный, плотник. Познакомилась я с ним случаем, у Фени, помнишь, Степанова дочь из нашей деревни? Она с войны в городе живет... Ну, так значит... это еще в прошлую поездку было. Встретились раз, другой, невзначай все у Фени. И будто нож мне в сердце воткнули. Воротилась домой, думала, все пройдет около тебя-то. Не прошло. Теперь, когда вдругорядь при-

ехала, он и говорит, что с ним то же самое делается. И меня он насквозь понял, хоть я ничего и не говорила, не выказывала. Говорит, давай поженимся. Как же, мол, мне от живого мужа за другого выходить. Ничего, говорит, такое случается. Жалкий он очень, одинокий...

— Ну, и ты решила уйти от меня к другому... к молодому?

— Моложе тебя он всего на три года. И ничего я еще не решила заглазно от тебя, а только мучаюсь. Ведь я тебя люблю.

— Ну, значит, не так страшно. — Киря повеселел, обнял ее, стал гладить по голове, точно ребенка, а она уткнулась ему в грудь и разрыдалась. Он утешал ее: — Ничего, ничего... бывает, и на шестом десятке влюбляются, а тебе только сорок пятый. — Киря старался говорить шутливым тоном, но Катя не отозвалась на это, продолжала плакать, и он вдруг почувствовал, что теряет жену, выпустил ее из рук, зашагал по избе, сухо чеканя слова: — Я не лось, лбом биться с соперником не стану. Все зависит от тебя.

— Спасибо за добро! Одной мне надо побыть.

— Побудь, побудь одна, разберись в себе.

Стал Киря все дни проводить в лесу. Диким зверем бродил по чащам, мок под дождем, не чувствуя холодной сырости, на все смотрел рассеянно. Поздно вечером дома встречала его Катя, по-прежнему заботливая, кормила и ворчливо выговаривала:

— Пошто весь день не евши. Разве можно так!

Хотелось ответить сердито: «Знаешь ведь почему», — но минутная злость гасилась желанием не наносить же не мстительную обиду.

Катя заводила разговор о хозяйственных делах, и это сбивало его с толку: если ее заботы искренни, значит, все в ней перегорело, если же все говорится для того, чтобы не молчать и лишь внешне сгладить остроту положения, тогда это противная игра. Не обрывая и не поддерживая внезапную словоохотливость Кати, Киря отвечал что-нибудь неопределенное, показывал тем самым равнодушие к хозяйственным заботам жены и лез на полати, где спал последние дни. Сон не брал его. Слышал, что не спит и Катя. Ждал: позовет она его, тогда все наладится, помнил бывалые размолвки, примиренные постелью.

Катя не звала.

Недели две прожили они так — не чужими еще, но уже и не близкими, не родными. Глаза Кати стали сухи и сосредоточенно задумчивы. Видел Киря: идет в ней борьба, и стал робко надеяться на лучший исход.

Однажды Катя сказала, что решила уехать в город к сыну, пожить у него. Тяжело было Кире смотреть, как она белила печку, мыла окошки и двери, кадушки и крынки, все перестирывала, а потом укладывала свои вещи. Страшно было сознавать, что родной человек собирается покинуть его. Спасаясь от этого страха, он укрывался в лесу, бездельничал, считал всякое дело теперь бессмысленным.

— Не сердись на меня, Кирилл, — просила Катя.

— Не сердись, не сердись, — передразнил он ее.

И они почти не разговаривали. Молчали и всю дорогу до станции, куда ехали на санях по первопутку. Молча посадил ее Киря в вагон. И опять она просила не сердиться на нее и по привычке наказывала беречь свое здоровье.

— Да тебе-то какая забота о моем здоровье! — вскипел он.

— Как же! Не чужой ведь ты мне.

— Коли не чужой, так вертайся! И чтобы знала: не заладится там новая жизнь, так вспомни про меня, приму.

— Ну о чем ты? Ведь ничего еще не изменилось.

— Вот так та-а-ак! Ну и рассуждаете вы, бабы!

— Ничего же я не решила.

Пора было покидать вагон, и Киря пошел, торкаясь широкими плечами в дверные косяки, спрыгнул на платформу и стоял, пока вагон медленно плыл мимо. В окне, как портрет в раме, показалось лицо Кати.

Не чувствуя себя, Киря дошел до площади за станционными строениями и, валясь в сани, стегнул лошадь кнутом. Всю дорогу до кордона лежал бревном и ничего не видел сквозь слезы.

В единственном письме Катя сообщила о сыне, внуке и снохе, передавала от них приветы и поклоны, а о себе не написала ничего. Киря рассудил так: если о себе не пишет, значит, собирается домой и все расскажет. «В письмо-то всего не уложишь, а на словах — другое дело».

Надежда на возвращение Кати в нем все крепла, он ждал ее.

Спустя месяца три Катя дала Кире знать через Феню, что сошлась с тем вдовцом. Не в утешение себе, а в объяснение он не осуждал Катю, рассуждал о случившемся с печальной трезвостью: «Бывает, всяко бывает. Пошла за меня совсем молоденькой, может, просто я поправился, а она за любовь приняла. А вот она, любовь, когда ее настигла».

Одного не понимал Киря: зачем говорила Катя, уезжая, что ничего еще не решила, зачем письмо написала, будто веревочкой привязала его к себе, почему сразу не сказала? Такие мысли немного принижали любимую женщину в его глазах.

Прошел год. Киря не свыкся с мыслью о потере жены и страдал мучительно. Ревности не было, было горе.

Летом приехал в гости сын со своей семьей и чуть не с порога сказал:

— Ну и постарел ты, батя! Из-за мамки?

Киря не ответил, а сын брякнул, как ножом под сердце:

— У мамки-то дочь родилась, мне сестра, выходит.

— Не надо об этом! — взмолился Киря, а сам подумал, что Катя давно хотела дочку. «Да, надо было второго ребенка, тогда не ушла бы».

И еще прошел год. Минувшим летом не привелось Кире видеть сына и внука, а о Кате иногда попадались строчки в редких сыновьих письмах: «Заходит мамка. Она здорова».

Долгими зимними ночами Кирю одолевали мысли о Кате. Теперь в нем появилась и укрепилась жалость к Кате. Почему-то ему представлялось, что муж ей попался дурной и ей с ним плохо. Он желал смерти неизвестному человеку, соблазнившему честную чужую жену. А утром приходил стыд за ночные рассуждения, и он покаянно думал: «Пусть бы жизнь у нее с ним не заладилась, тогда бы другое дело. А то смерти захотел... Нехорошо-то как!»

Тоска по Кате не ослабевала. В тоске он любил ее как будто сильнее, мысленно обращался к ней с такими ласковыми словами, каких прежде у него не находилось.

Несколько дней мучился егерь от поясничной боли. Была пурга, на крыльцо намело сугроб, выстудило избу. Почувствовав себя лучше, Киря нажарил печку, истопил баню, напарился, нахлестался березовым веником, сварил щей из лосиной головы.

— Выкарабкался, — говорил он самому себе. — Плохо человеку одному, ох как плохо! И зачем такая одинокая служба? — Подумав над этим вопросом, он стал мечтать: — Все бы люди враз стали оберегателями природы, ничего бы самовольно не трогали. Захотел, скажем, на зверя или на птицу поохотиться — уплати денежки, получи разрешение и убей то, что позволено и сколько позволено, не больше. Честно, значит. И не нужны будут егеря, лесники, рыбные инспектора. Вот тогда я уехал бы отсюда к людям... А может, сейчас бросить все и переселиться?.. Нет, все это пустой бред, никуда мне уж не уехать: как тут без меня лес останется? Перебьют все живое.

Наговорившись, Киря сытно поел, хорошо выспался и утром встал с ощущением легкости в теле. Выйдя на крыльцо, он зажмурился от рези в глазах, приложил ко лбу ладонь козырьком, открыл глаза. Чистый, необыкновенной белизны снег искрился на солнце. Широкие ноздри Кири раздувались, дышалось свежо, и его пьянило.

— Весной пахнет.

После завтрака он оделся в полушубок, нахлобучил шапку, положил в карман краюху черствого хлеба, луковцу, закинул за спину двустволку и заскользил на лыжах в голубой тени сосен, чувствуя себя душевно омоложенным.

...В апреле дошло до Кири, что муж Кати скоропостижно умер.

— Что за напасти на бедную Катю! — вырвалось у него с горечью в первый момент. Вскоре его стала мучить совесть. Знал, что от злых желаний его, приходивших внезапно и на мгновение, не могла приключиться смерть, а все равно теперь страдал и каялся в дурных мыслях. Нет, не хотел он смерти Катиного мужа, не хотел. И ни-

чего плохого не желал ему. Он никогда не видал его даже на фотографии, не знал, что он за человек, но был убежден, что хороший, иначе Катя не полюбила бы его. И вот хороший человек ушел из жизни, оставив вдову и сироту.

Первым делом Киря послал через сына Кате письмо. «Трудно тебе одной-то с ребенком, знаю я. А ты, если не забыла меня совсем, прими от меня какую-никакую помощь, я на все согласен».

Катя ответила нескоро. «Сердешный ты человек, Киря. Дошла до меня твоя жалость, и вроде легче стало. Спасибо!»

И опять посветила Кире надежда на что-то хорошее, пусть не на такое, что было, вдохнула в него свежие силы. Дни стояли прозрачные, мягкие, молодой зеленью покрывалась земля. В лесу весь день пели птицы, ночью не умолкали соловьи. В потайных уголках камышовых зарослей умиротворенно крякали утки.

Весенняя охота была запрещена, и у Киря поубавилось егерских забот. Он посадил картошку и овощи, завел пчелиную семью и с замиранием сердца слушал трудолюбивое бунчание в снежно-розовом цветущем саду.

Как-то ему пришла на ум неотвязная мысль: привезти на кордон Катю. Оставив знакомого старика подомовничать, он отправился в город рано утром, а вечером был у Кати. Удивленная его приездом и смущенная его приветливостью, она не знала, что говорить и как держать себя с неожиданным гостем.

Катя изменилась, похудела, в глазах метался тревожный болезненный жар. Напряженно смотрела на Кирю, когда он приласкал девочку.

— А она на тебя похожа, — заметил он, и Катя почему-то покраснела. — Воздух ей лесной нужен, чистый воздух.

Катя ничего не сказала на это, собирала на стол. Помолчав недолго, Киря решительно сказал:

— Я ведь за вами приехал.

— Как за нами? — Катя так и обмерла, глаза остановились, расширились.

— У нас на кордоне-то хорошо! Поправится дочка, да и ты отойдешь от горя. Вон как тебя передернуло.

Руки у Кати упали, ноги подломились, и она села на стул, склонила голову.

— Я ничего не требую от тебя, Катя. Живите себе, и мне будет радостно около вас. — Держа девочку на коленях и глядя по голове, Киря мечтал: — Корову завведем, молоком с медом поить будем, и вырастет раскрасавица.

Тень улыбки скользнула по лицу Кати, а глаза по-прежнему оставались грустными. Сказала с одобрением:

— А ты все такой же неунывающий.

— Жить надо, а не ныть. Ну, так собирайся.

— Так вот сразу? Подумать надо.

— Подумай.

...Через месяц с небольшим Киря опять приехал в город и в этот раз увез Катю и девочку.

На кордон прибыли под вечер.

— Хозяйничай, — сказал Киря, внеся в избу Катины пожитки, а сам поехал в деревню за молоком.

Пока ездил, Катя устроила за перегородкой детскую постель, застелила кровать свежим бельем. Киря стал возиться с самоваром, а Катя тем временем накормила девочку и уложила спать.

Чай пили в саду, под яблоней. За лесом садилось солнце. По саду уже растекались синеватые сумерки, а в небе еще розовели окрашенные закатом облака. Где-то прошумела автомашина, далеко прогудел паровоз и донесло стук поезда. И опять стало тихо, только попискивал самовар на столе, выпуская из крышки веселые струйки пара, звякали вилки о тарелки да начинали вечернюю перекличку лягушки.

Подавая Кире чашку чая, Катя со вздохом произнесла:

— Ровно и не покидала я кордон.

— Как будто так, — согласился Киря и стал пить чай с блюдечка, путаясь в новых, беспокойных мыслях: «Мне-то хорошо, что она вернулась. А ей? Ей-то как? Может, она через какую силу пошла на это? А?.. А бывает ли так, что разлюбила и снова полюбила?» Ответов на вопросы у него не было.

— Завязь-то на яблонях богатая, колья придется под ветки ставить, — сказала Катя.

— Поставлю.

— Завтра будет вёдро и жарко, надо зимнюю одежду просушить да убрать, — сказала Катя, как говаривала это в прошлые годы.

— Займемся одеждой, раз надо.

Напились чаю, и оба ощутили какую-то неловкость. Умытая, с распущенными волосами, Катя стояла у двери в спальню. Киря топтался тут же, не зная, чем занять себя, и чувствуя, что мешает Кате.

— Спит Оля? — спросил он, хотя и сам видел спящего ребенка.

— Спит, похрапывает.

— Ну и ты спи спокойно, Катя.

— Ладно. Спокойной ночи!

Катя скрылась за занавеской, оставив дверь незакрытой, как это делалось прежде. Киря послушал, как она постояла у детской кровати, потом легла, посидел на своем топчане, но не лег, а вышел на крыльцо. К нему бесшумно подошла Пальма. Он сел на ступени и стал гладить собаку по длинной шерсти. На небе проклевывались чуть заметные звезды.

Курган

1

На маленькой станции, где поезд стоял две минуты, они вышли из вагона и зашагали полевой дорогой, покрытой мягкой горячей пылью. Вокруг раскинулась степь с поспевающей, тронутой желтизной пшеницей, с голубыми овсами, с зарослями кукурузы, шуршащей на ветру. В белом небе пылало солнце, в жарких потоках воздуха, иссыхая, кудрявились придорожные травы.

Впереди, прихрамывая и опираясь на палку, шагал Кузьма. Длинная костлявая фигура его согнулась под тяжестью заплечного мешка, на лице, иссеченном вдоль и поперек морщинами, розовела тень от соломенной шляпы. За Кузьмой уныло плелся его сын Митя, семнадцатилетний, тонкий юноша, тоже с мешком на спине.

Долго шли они, молча, не встретив ни одного человека. Только мухи да слепни вились над ними, с лета вонзая в потные шеи и руки жгучие жала.

Кузьма жадно вглядывался в низинки и бугорки, ища давние, но забытые приметы... Обернулся на ходу, спросил:

— Устал?

— Ничего, — вяло ответил Митя, дернув шеей и запустив руки под заплечные ремни тяжелого мешка.

Он жалел о несостоявшейся поездке с товарищами на Черное море и досадовал на отца, задумавшего этот поход по суховейным приволжским степям. Считая каникулы пропавшими, он сейчас хотел одного: выкупаться и уснуть где-нибудь в прохладе.

— Раскис, — произнес Кузьма без осуждения и без сочувствия.

Митя молчал. А Кузьма стал вслух вспоминать, пре-

рывая слова глубокими вздохами и шумными выдохами:

— В такую вот жару шли мы тут на передовую... В бязевом белье... Гимнастерка и брюки плотные, непродуваемые... Солдат увешан, как ишак: шинель, винтовка, патронташ, лопатка, противогаз... в вещевом мешке «энзэ» продуктов, смена белья, запас патронов и всякая солдатская мелочь — шило, мыло и табак... А на ногах сапоги пудовые из кирзы, с толстенными резиновыми подошвами, ноги в них горят... Ход маршевой, скорый, надо идти со всеми одним общим дыхом. А с неба немецкие самолеты сваливаются, из пулеметов поливают... Ну, тогда бежишь в пшеницу, плюхнешься в землю носом, отдышаться не можешь, грудь разрывается, сердце выпрыгнуть хочет...

Сын молчит. Перед ним качается хромающая фигура отца.

Так идут они и час, и два... Изредка вспорхнет перепелка и камнем упадет в пшеницу, да ястреб парит кругами. Безлюдье, тишина, зной.

К полудню дошли до дубовой рощи.

— Вот тут отдохнем, — сказал отец, скидывая шляпу и рубаху и подставляя прохладным струйкам воздуха потное тело. — Поедим, значит, полежим, переждем самую-то жару. Ты пока полежи. Да разуйся и ноги повыше задери, к стволу прислони, кровь-то и отольет. Я — мигом.

Вынув из мешка старый, с вмятинами, солдатский котелок, Кузьма ушел вниз по скату оврага. Сын молча посмотрел ему в худую спину с ходившими под мокрой майкой лопатками, повалился на траву, закрыл глаза. Чуть слышно, дремотно шелестели дубы. Но вот забунчала над ухом пчела, где-то закуковала кукушка, и спать Мите расхотелось.

Митя был тонкий, но уже сильный парень с румяным лицом, с синевато-серыми, как у отца, глазами. Всю зиму он старательно учился, говоря, что летом у него будут последние школьные каникулы, которые надо провести «как следует», потому что на тот год придется сдавать экзамены в институт. Минувшей зимой он научился курить, стал следить за своей внешностью, не брил жиденькие усы, не стриг волосы на висках, отпуская узенькие бакенбарды. «Взрослый стал», — говорила мать, нежно глядя его по плечу, хотя и не все одобряла в нем;

она надеялась, что недостатки его — это возрастная болезнь, которая проходит со временем.

Отец когда-то дал обет: если не убьют, побывать в тех местах, где воевал. И вот позвал сына с собой, говоря, что неудобно странствовать одному, тем более что и сердце у него побаливает.

Своего отца Митя находил старомодным и странным. Работая на заводе кузнецом, отец каждое утро вставал в шесть часов по будильнику, брился, умывался, надевал чистую рубаху и не спеша завтракал. Этот утренний распорядок никогда не нарушался. Про завод отец говорил с особым, уважительным чувством, а двенадцатитонный паровой молот, на котором ковал коленчатые валы и шатуны, называл нежно: «мой молоток». Иногда он приносил заводскую многотиражку, где упоминалось о нем, и клал ее на видном месте, чтобы прочитали дети и жена. Дети не интересовались газетой, и он через несколько дней убирал ее в папку, в которой хранились документы. Сын подшучивал над отцовским «архивом» — «множится семейная реликвия», — на что отец не отвечал, а только хмурился. Сорок пять отцовских лет Митя считал стариковским возрастом. Когда Кузьма был недоволен сыном, то говорил: «Я в твои годы солдатом был, смерти в глаза смотрел...»

Зашуршала трава, из-за кустов появился отец с котелком воды. Лицо у него было оживленное, сияющее.

— На-ко попей.

Пока сын тянул сквозь зубы студеную воду, Кузьма вспоминал:

— Жив родник-то! В этой роще мы двое суток после похода отдыхали, готовились в бой вступать. Немцы каждый лесок бомбили. Ну и нам доставалось. Вон углубление. Тут землянка была. В ней я ночевал с товарищем. Ишь, зарубцевалось, травой заросло. Кто не знает, так и не подумает. — Он обвел молодо синевшими глазами вокруг себя, улыбнулся, отчего морщины на лице стали резче. — Ну, давай ноги мыть. На походе первее всего — ноги. Их надо содержать в чистоте, уметь обуваться, тогда потертостей и мозолей не будет.

Поливая из котелка, он вымыл ноги, вытер чистой тряпкой, крикнул:

— Сразу полегчало.

Снова сходил за водой. Митя не послушался отца, сполоснул только руки и лицо. Сидели, наслаждаясь гулявшим в тени деревьев сквознячком, ели хлеб с сыром, печеные яйца, запивали еду ключевой водой.

— Родник тогда в один миг досуха вычерпали. Деревьями шли, так колодцы подчистую во фляги переливали. Командиры запрещали, ругались, грозили, мол, колодцы могут быть отравлены. Ну, не остановить было. Жажда, она хуже голода.

Митя слушал вполуха. Наевшись, он с удовольствием растянулся на траве и, одолеваемый сном, не слышал отца.

— Тут товарищ мой погиб. Налетел разведчик-«рама» и, видно, на всякий случай построчил из пулемета. Пуля товарища моего прошила. Насквозь. А меня не задело, хоть и рядом лежали. Вот ведь как бывает.

Кузьма ненадолго умолкает.

— Хороший был товарищ. Мы с ним из одного котелка, вот из этого, пили-ели, под одной плащ-палаткой спали... Тут на опушке его похоронили, вместе с двумя другими.

Посмотрев на сына, который сладко спал с открытым ртом, Кузьма тихо побрел к опушке. Трава приятно знобила и щекотала босые ноги. Память оживляла прошлое ясно. Вот опушка рощи с одиноким дубом на отшибе, у самого пшеничного поля. Тогда тоже стояла пшеница, истоптанная солдатскими сапогами. Могила, помнилось ему, недалеко от дуба. Когда полк уходил на передовую, все поворачивали головы на могилу в тени дуба. Дуб уцелел, стал шире, выше, могучее...

Он обогнул дерево. Под ногами хрустели в траве прошлогодние желуди. Больно кольнуло что-то жесткое. Нагнулся: пряжка от солдатского ремня, позеленевшая, изъеденная ржавчиной. Положил в карман.

Могила не было. Он ходил вокруг дуба, все увеличивая круги, будто раскручивал спираль. Нет, не видно бугорка. Может, осел могильный холмик, потом все сравнялось, заросло? Или перенесли прах на сельское кладбище, на площадь?

Огорченный, вернулся к спящему сыну, прилег. Ныла покалеченная нога. Болели спина и натертые лямками плечи. Постепенно Кузьма стал забываться.

К вечеру они снова отправились в путь. Полуденный зной переждали в роще, теперь солнце грело, но не жгло, и воздух был не белый, а золотистый.

Кузьма передвигался через силу, но не хотел показать свою боль и усталость, бодрился:

— До Грачевой балки дойдем шутя, а там переночуем... Тут, в степях, овраги называют балками. Есть Бирючья балка, Кузнецова, Таловая, еще какие-то, всех уж не помню.

— Тут и шла война? — спросил сын, показывая рукой вокруг себя.

— Тут. Только все дороги были искорежены танками, грузовиками. Везде валялись разбитые машины, пушки, танки, обгорелые, черные. Земля вся ископана, взрыта, истоптана... И трупы. Убирать не успевали. Лежит иной, а глаза-то немые, в небо устремлены. А в небе «рамы», такие самолеты у немцев были, двухфюзеляжные. А над самой землей хищные птицы над трупами пируют.

— Страшно было, отец?

— А как же? Страшно. Но это уж потом... Бывало, в госпитале, как вспомнишь про передовую, так озноб по спине... А в бою некогда пугаться — надо действовать.

Митя пытался представить себе отца в его семнадцать лет. Наверно, парень был ничего. Девушкам, должно быть, нравился. Хотя какие там девушки! Семнадцати лет на фронт попал. А потом госпитали. Поправился после ран, на войну не взяли: признали негодным. На завод учеником поступил, стал рабочим, женился. И все! Теперь старый уж человек. Вот и жизнь...

Раздумавшись об отце, он вспомнил товарищей, знакомых девушек из своей школьной компании. Купаются в море. А он, Митя, топает по жаре. И ради чего? Мог ведь отец поехать до самого памятного ему места на попутной машине по большой дороге, так нет, захотел пешком, по полевым стежкам и по оврагам. Уважил Митя отца, пусть не обижается, только досадно все же.

Распалив свое воображение думами о веселом отдыхе, он почувствовал еще большее озлобление на эту сухую, жаркую степь, на мелкую пыль, проникающую в нос, в уши, в глаза. Ну, воевал тут отец, ну, ранен был, ну, уничтожили тут целую немецко-фашист-

скую армию. И чего тут смотреть! Ехал бы лучше в дом отдыха.

Но он не сказал этого отцу. Зачем? Изменить ничего уже нельзя.

Когда вышли из дубовой рощи, вдалеке виднелся сиреневый холм. Казалось, он так далек, что до него невозможно дойти. Долго шли, вздымая тяжелыми ногами легкую пыль. Дорога тянулась однообразная, и терялось ощущение движения, будто топтались на одном и том же месте... Тянулось время час за часом, и очертания холма постепенно становились четче, в нем все резче прорисовывались густо-синие впадины и бурые взлобки. К вечеру пологий скат холма с высохшей травой шуршал под ногами путников.

Кузьма оживился необыкновенно, вертелся по сторонам, потом решительно свернул с дороги и бодро зашагал по краю балки, вскоре раздвоившейся на два русла, а те в свою очередь разделились на новые овраги и овражки.

— Вот она, Грачева балка! — обрадованно воскликнул Кузьма, снимая мешок и разгибая спину. — Все берега были изрыты: землянки, блиндажи, склады, щели укрытия. А тут — окопы. Найду ли мой окоп? Хотя бы один, показать тебе, что это такое. Изменилось все, распаханно, засеяно... А где человек не привел землю в порядок, она сама зарастила свои раны. Природа залечила, дала жизнь. Она, жизнь-то, идет своим чередом, ее не остановишь. Ей только не надо мешать. — Кузьма повертелся, потоптался. — Это самое место.

Близ балки высился омет прошлогодней соломы, ржавый от времени.

— Вот и постель нам готова, — Кузьма показал на омет. — Выспимся, а завтра будем в городе, тут совсем недалеко.

Солнце медленно уходило к далекому лиловому горизонту. От омета лежала на земле тень. Она не давала прохлады, но в ней отдыхали глаза от солнечного блеска.

Привалясь к соломе, из которой не выветрился теплый хлебный запах, они некоторое время отдыхали, не шевелясь, не разговаривая, а когда солнце село, поужинали. Весь запас воды выпили, Митя страдал от жажды и сплевывал тягучую слюну.

— Потерпи, — сказал Кузьма и ушел с котелком по балке.

Отец принес полный котелок воды, белесоватой, будто жидкий меловой раствор.

— Освежись-ко!

— Это что за гадость?

— Вода тут такая. Мы пили. Солдату без питья — никак нельзя. Еще без табаку плохо. С подвозом воды трудно было, так сами добывали. Всю балку изрыли ямками. За ночь ямки наполнялись. Ну всем не хватало. Попей, попробуй.

Взяв из рук отца котелок, Митя долго смотрел на мутную воду, осторожно глотнул и резко отстранился.

— Соленая!

— Да, солоноватая. Мы ей рады были, другой-то по несколько дней иногда не видели.

Отец сказал это весело, а Митя удивился: «И чего он умиляется?»

— Из-за воды головы клали, — продолжал отец. — В километре отсюда есть пруд при ферме, для водопоя овец. Тем прудом завладели немцы. Ну, с водой нас до того допекло, что комдив приказал отбить пруд. Приказано было нашему батальону. Атаковали. Неудачно. Потеряли людей. Командира батальона ранило, а комиссара убило. На другой день полком атаковали. Отбили пруд. Обеспечили кухни, напились. А умыться — где там! — Он поднес котелок ко рту, отпил немного, почмокал. — Она ничего, право, жажду утоляет. Вот испил ее — как будто опять солдатом на войне оказался...

На лице Кузьмы не угасала странная улыбка растерянности и счастья, глаза гуще налились синью, заблестели возбужденно.

— Тебя тут ранило? — спросил Митя.

— Здесь легкое ранение получил, а тяжелое на кургане, в городе.

Фронтową жизнь со всеми опасностями, лишениями, смертью представить себе Митя не мог: ему не хватало воображения. Он узнал лишь вкус соленой воды. Не мог он понять отца, перемен в его настроении — от печали к восторженности, от нервного возбуждения к успокоенности. В сумерках, когда улеглись на верху омета спать, отец то и дело садился, оглядывался на все стороны, нетерпеливо ждал чего-то.

Утром Кузьма повел балками, без дорог и тропинок. Непаханая возле балок земля скупно поросла жесткой травой. В редкую поросль серо-зеленого типчака с колосистыми метелками вплетался ползучий мятлик, тянулся к солнцу длинностебельный тонгоног, робко выглядывали голубовато-розовые цветки шалфея. Буйно кудрявилась сизая, остро пахучая полынь. Седым дымом струился над землей ковыль. По оврагам кое-где росли мелкий дубняк, дикая груша, татарский клен да прутняк.

Временами Кузьма останавливался, щурился, вглядываясь в плоскую местность, потом показывал палкой:

— По этим балкам мы отступали к городу. А город горел. Всю ночь пламя и дым.

Митя усмехнулся:

— Отступали... гордиться нечем.

— Гитлеровскую армию мы разбили... этим гордимся. Все мое поколение гордится. Да и не только мое.

Любил Кузьма с похвальбой говорить о своем поколении.

— Ваше поколение! — восклицал Митя. — Оно какое? До того как стало взрослым, до того как стало способным устраивать мир, было уже отформовано вашими отцами. — Говорил Митя чужими, где-то услышанными или вычитанными словами.

— Ну и что же? — спрашивал отец и, не дождавшись ответа, продолжал: — Мы и свое добавляли к отцовскому и вам передаем. А вы к нашему добавите свое. Так она, жизнь-то, и катится по ухабистой дороге. Понял?

— Сейчас не ваше время, — заученно отвечал Митя. — Ты отец, пережил свой век. Не физически, а морально.

— Занятно! Где это ты выучил?

— Все так говорят.

— Все? Ну, ну!

— Наше поколение больше знает.

— Правда, но это наша заслуга. Мы своей кровью дали вам возможность учиться. Я в твои годы воевал, своих сверстников хоронил, сам смерти в глаза не раз заглядывал, знаю, какая она. Да, учиться мне пришлось мало, в вечерней школе, после работы.

— Где учат чему-нибудь и как-нибудь, — попробовал сострить Митя, но осекся под строгим окриком отца:

— Не скаль зубы! Слышь!

Лицо отца сделалось бледно-серым и незнакомо страшным... Митя смущенно произнес:

— Как ты все помнишь!

— Такое не забудешь.

Кузьма, взбудораженный воспоминаниями, не мог молчать и все говорил и говорил:

— Эту балку немцы простреливали. Головы поднять нельзя было. Наш взвод отрезанным от своих оказался. И выпало мне пробраться к комбату с донесением от нашего командира. Больше трех часов через балку полз. Переползешь на шаг и лежишь, затаишься, будто убитый. Чтобы снайпер не стал в тебя стрелять. А из автоматов-то пули рядышком — вжик! вжик!.. И вдруг — самолет над балкой. Сбросил кассету, она в воздухе раскрылась, а из нее сотни осколочных бомб. Рвутся на земле, осколки с визгом подпрыгивают. И кажется, все — в тебя, в тебя... Ну, обошлось, вылежал, не вскочил со страху, не побежал, а то бы снайперы срезали. До меня двое уже полегли, не выдержали, поторопились. Немного поцарапало и меня: семнадцать осколков из меня вынули.

Митя хорошо знал шрамы на отцовском теле.

— Как до того вон берега дополз, в чувство немного пришел: значит, жив... а то все в каком-то тумане был, сам не свой. Думал, концы отдаю... Донесение доставил.

Он провел ладонью по лицу, вздохнул.

— Всего не расскажешь. Пошли!

Некоторое время шагали молча. Митя вдруг представил себя лежащим под пулями и бомбами. У него сжалось сердце и пробежала холодная дрожь по спине — от лопаток до поясницы.

4

Утро только началось, а Кузьма был уже на ногах. Ночью стояла духота, в окно врывался теплый ветер, трепал занавески, обдувал постель, но не освежал. И сна не было — была дремота, такая тонкая, что рвалась при малейшем звуке.

Тихо, чтобы не разбудить сына, разметавшегося в сладком сне, Кузьма вынул из мешка костюм и, перекинув его через руку, осторожно вышел в коридор, шепотом

попросил у сонной дежурной утюг и долго наглаживал пиджак и брюки. Потом отнес костюм к себе в комнату и бережно повесил на спинку стула. Рубашка была в пакете и оказалась почти немятой, выходные ботинки, завернутые в газету, сохранили блеск. Наконец он достал две медали, обтер их и прицепил к пиджаку.

Радио донесло бой кремлевских часов. Студенческое общежитие, превращенное на время в приют приезжих туристов, постепенно оживало: хлопали двери, слышались шаги, кашель.

Когда Кузьма с Митей пришли в буфет, там была уже очередь. Молодые парни и девушки выделялись среди пожилых людей небрежностью в одежде.

Бывшего солдата это огорчало. «Зачем они так? — думал он. — Пойдут такими неряхами по святым местам. Нет, мы были иными». Напротив сидел Митя. Он не носил длинных волос, но защищал моду, ссылаясь на знаменитых поэтов, писателей и художников прошлого: они, мол, тоже носили длинные волосы. Отец не спорил, но нынешних длинноволосых не любил. «Те-то были знамениты не волосами, а умом, талантом, а теперешние? — и он махал рукой. — Эх!..»

Митя, как и многие парни, суетившиеся в буфете, был в бумажных брюках, броско простроченных, утыканных металлическими заклепками и с картинкой на заднем кармане. На ногах запыленные, испятнанные машинным маслом кеды. Такая одежда сына казалась Кузьме неподобающей, но говорить об этом он считал бесполезным занятием.

А сын думал об отце, о праздничной одежде его, о торжественности в каждом движении, о собранности и подтянутости, стыдливо отмечая про себя: «Две медали — только и всего. Лучше бы уж не выставлял их напоказ».

После завтрака, когда они вышли на улицу, в воздухе уже пахло горячей сухостью и неостывшим за ночь асфальтом с мокрыми пятнами от полива. По изогнутой широкой улице, с которой виднелась в переулках Волга, катились автомашины. Людей было мало, и новые высокие дома выглядели непривычно молчаливыми в этом безлюдье.

— Погоди, отец, — бросил Митя, вдруг возвращаясь назад, в общежитие.

Спустя четверть часа он выбежал переодетый в белую рубашку с короткими рукавами, в серые брюки и новенькие туфли.

Сделав вид, что он не заметил этой перемены, Кузьма скомандовал:

— Пошли!

На большой площади, с зеленым парком посередине, штыком вонзился в высоту четырехгранный каменный обелиск, словно выросший из братской могилы, на которой пестрели свежие яркие цветы. По углам могилы стояли по команде «смирно» мальчики с автоматами на груди поверх красных пионерских галстуков. На лицах часовых почетного караула — строгая торжественность.

— Видишь? — тихо спросил Кузьма, принимая военную выправку и снимая шляпу.

— Красиво, — тоже тихо ответил Митя, проникаясь общим настроением скорби, с каким люди ступали неслышными шагами, читали имена захороненных, клали цветы.

— Так сказать мало... это знаешь что такое?.. Это... Это... — не найдя нужных слов, отец умолк.

Они молча шли по аллее мимо бронзовых бюстов героев войны, обходя детей, играющих под присмотром мамаш и бабушек. Потом сели в экскурсионный автобус. Экскурсовод рассказывала сначала о том, что происходило в дни обороны города, потом о том, что тут построено после войны. Город был совсем новый, молодой, обильно уснащенный колоннами и фигурными фронтонами, обсаженный неуспевшими войти в силу деревцами. Автобус останавливался у танков и пушек на бетонных площадках с надписью о том, что такого-то октября 1942 года тут проходила линия обороны.

Побывав у многих памятных мест, автобус наконец привез экскурсантов к кургану.

5

Никто не знает подлинной истории этого кургана, поднявшего круглую главу свою на степном берегу Волги. В легендах, уходящих корнями в далекие туманные века, рассказывается, что курган этот насыпан русскими воинами на братской могиле павших в бою с полчищем золотоордынского хана. У подножия кургана триста лет тому назад вырос вдоль Волги бойкий город.

Но вот опять нагрянули на русскую землю чужеземцы. Уже не с луками и стрелами, не с мечами и копьями пришли они, а с танками, самолетами, пушками. В великой битве город был разрушен, но не пал. Сотни тысяч врагов нашли свою смерть на подступах к городу и на его улицах.

Сто сорок суток шла кровопролитная битва за курган. Большой город, видимый с его вершины, лежал в развалинах и дымился, черной пеленой застилая небо, в котором вороньем кружились вражеские самолеты. Огненным шквалом низвергался на защитников кургана раскаленный металл. Взрывы встряхивали землю, где давно уже не осталось ни живого кустика, ни былинки, где все было взрыто, переверочено и перемолото, где люди заживо сгорали, умирали от ран, но не сдавались и не отступали.

Прошли годы... Город возродился. И курган по-прежнему высится над степным простором, над городом, припавшим к свежим струям Волги.

С какой бы стороны ни приближался путник к кургану, издалека видна на вершине его четкая на фоне неба, изваянная из бронзы женщина. Одна рука ее воздета к небу и как бы зовет вперед, а другая, с обнаженным мечом, занесена для удара.

Прежде чем приблизиться к этой бронзовой женщине, надо подняться со стороны Волги по гранитным ступеням, мимо остатков стены, выросшей из земли, с наско-ро выцарапанными словами «Стоять насмерть», мимо мощной фигуры бойца, обнаженного по пояс и напряженно ждущего встречи с врагом, мимо скульптуры матери, скорбящей над павшим в бою сыном.

Тишину братских могил, место вечного упокоения семи тысяч двухсот погибших, охраняют, точно часовые, пирамидальные тополя, отражаясь в стеклян-но-гладкой воде бассейна, со дна которого смотрят белые облака опрокинутого высокого неба...

Над курганом небесная голубизна и тишина. Птицы поют в молодой роще, посаженной на склонах. Ярко горит зелень газонов и брызгами крови пылают цветы.

Нескончаем поток паломников к священной земле. Щепотки этой земли бережно развозятся по всему миру.

По каменным ступеням широкой лестницы, что ведет на вершину кургана, поднимались люди. Медлительное молчаливое шествие как бы напоминало о том, что в святом месте суетливость непростительна.

В пестрой движущейся толпе шагал по ступеням Кузьма с сыном. Время от времени он останавливался у символических руин, у скульптур, у ярких цветов, и стоял в раздумье минуту, другую с поникшей головой. Боясь потревожить строгую печаль отца, Митя стоял тоже неподвижно, чувствуя, как невольно поддается незнакомому прежде настроению слитности с чем-то незримым, но очень значительным. И с каждой минутой, с каждым шагом это чувство завладевало им с новой силой.

В зале Пантеона, в руке из гранита, горел вечный факел. Голубоватое пламя, колеблемое токами воздуха, освещало мраморные стены с золотыми буквами. Тысячи и тысячи имен погибших врублены в мрамор. Лилась скорбная музыка...

Звуки печали то чуть слышались, прозрачно-грустные, то мощно и возвышенно рокотали под каменным потолком, сотрясая воздух, то переходили в тоску, пронзающую сердце. Припав к стене головой, стоял, опираясь на костыль, одноногий мужчина. Закрыв лицо рукой, он плакал, и сильные плечи его вздрагивали.

— Это не турист, — тихо сказал Кузьма сыну прерывающимся голосом. — Это паломник... участник...

Кузьма тоже плакал. По морщинистым обветренным щекам скатывались слезы. Он не стыдился их и не вытирал.

Обойдя все памятники, они остановились на склоне кургана, откуда виднелся город и позади него серо-синеватая Волга, за ней узкая каемка прибрежного леса, серебристые мачты электролинии, а дальше в желтоватом тумане тонула ровная степь.

Под молодым тополем была теплая жиденькая тень, и отец с сыном укрылись в ней от солнца.

— Деревья посадили, цветы, — задумчиво произнес Кузьма. — Тут только полынь росла, житняк да верблюжья колючка... Окопы были, блиндажи... теперь все засыпано, выровнено, украшено... Но я помню каждую морщину на этом кургане... чувствую телом каждый бу-

горок, хранивший меня от смерти... Помню каждый час каждого дня. А дней было немало...

Он замолчал. Было тихо. Только доносилось шарканье ног да воробьиная стайка с веселым чириканьем перелетала с дерева на дерево. С реки донесло гудок парохода. Митя увидел отца другими глазами. На отмякшем и подобревшем лице странным блеском горели глаза. Такой взгляд бывает у людей, прикоснувшихся к чему-то заветному, не всем доступному и потому дорогому. Во взгляде отца, в повороте головы, в каждом движении сухого тела была сила и твердая решимость. Казалось скажи ему, что надо сейчас снова тут лечь с автоматом в руках, и он ляжет.

— Папа, расскажи, как тут все было.

7

Командир привел их ночью, и они заняли окопы, где еще днем находились другие бойцы, теперь убитые или раненные. Окопы были вырыты на скате, а ниже, там, где подошва кургана переходила в равнину, находились немцы. Оттуда летели мины, пули и били из пушек танки. На вершине кургана стояли два огромных бетонных цилиндра водопроводных фильтров, а между ними примостилось русское зенитное орудие, время от времени стрелявшее по немецким самолетам.

Кузьма стоял на коленях в неглубоком узком окопе, постреливал в сторону противника. Ожидалась вражеская атака, но прежде должна быть артиллерийская «обработка». Об этом думалось Кузьме недолго и спокойно. Очень донимал запах гари. Горел город, горела сухая трава, горела земля. Едкий горький воздух царапал горло, вызывал чиханье, выжимал слезы.

Пролетели вражеские бомбардировщики.

«В тыл, — подумал Кузьма, провожая их взглядом. — У нас меньше самолетов, меньше танков... Но погодите!»

Впереди взорвалась мина, разбрызгала веером глину. Кузьма успел упасть на дно окопа, услышал, как над головой зашлепали о бруствер осколки, посыпались на него комья земли, песок. Он сел, согнувшись, стараясь сделать свое тело как можно меньше, ждал, что следующая мина попадет в него. Но взрывы слышались где-то дальше, в глубине обороны.

Все чаще гремели орудия. Звуки выстрелов были протяжные, густые, сотрясающие воздух. Снаряды рвались коротко, тяжелым ударом встряхивали землю.

Все было как всегда: минут двадцать, а то и больше, немцы вели артподготовку перед атакой. Когда артиллерия прекратила стрельбу, на курган поползли танки. Тяжелые машины двигались не спеша, шаря дулами пушек и постреливая. За танками бежали, пригибаясь, немецкие автоматчики. Обороняющиеся били по танкам из бронебойных ружей и орудий.

Один из танков приближался к Кузьме. Он вырастал на фоне неба тяжелой грохочущей машиной. Кузьма схватил холодную бутылку, молниеносно швырнул на стальную броню. Кузьма успел увидеть растекшееся пламя и опять упал на дно окопа за второй бутылкой.

И тут случилось то, о чем Кузьма слышал, но сам не видел... Танк загрохотал над ним. Гусеницы грызли края окопа, заживо хороня Кузьму. Сознание обожгла мысль о гибели. Еще секунда, две... и гусеницы перемелют его хрупкое тело и завалят землей... Он, холодея, закрыл глаза и почувствовал тошноту.

Очнулся от давившей на него тяжести. В ушах звенело, и сквозь этот звон он слышал глухой стук и крики. Сознание вернулось к нему, он вспомнил все случившееся, стал барахтаться, и ему удалось поднять из земли сначала голову, потом руки и, наконец, высвободить ноги. Протер глаза, осторожно выглянул. В разных местах кострами горели танки, в дыму и пыли метались люди, захлебывались пулеметы и автоматы.

Атака была отбита. Уже в темноте, когда Кузьма расчистил полуразрушенный окоп и чуть углубил его, принесли обед. Солдат, разливавший из термоса по котелкам суп, рассказывал:

— Пятьдесят фашистских танков подожгли мы сегодня. Не все горят, суки! Некоторые покрыты несгораемой броней и работают не на бензине, у них дизельные двигатели, ну и не взрываются.

На другой день и на третий немцы опять рвались на вершину кургана. В воздухе то и дело появлялись десятки пикирующих бомбардировщиков. По кургану, по окрестным местам стреляла тяжелая артиллерия. На берегу Волги загорелись хранилища нефти. Густое пламя бушевало над рекой, а черный столб дыма, клубясь,

взвился в небо на километровую высоту. Хлопья сажии осыпали курган. Ветер ворошил черный пепел на земле.

Вал за валом шли на обороняющихся черные танки с белыми крестами на боках, а за ними, как муравьи, наступали тысячи пехотинцев в серо-зеленой одежде.

И опять все атаки были отбиты. Отбивали их и в другие дни. Но однажды Кузьме и его товарищам командир сказал:

— Немцам удалось прорвать оборону на другом склоне и занять вершину кургана. Нам приказано выбить врага с вершины.

Теперь батальон, в котором был Кузьма, повернулся лицом к вершине кургана. Наступать в гору было трудно. Кузьма потерял счет дням, проведенным в боях на кургане, но это уже не имело значения. Важно было, что он еще жив, даже не ранен.

В тот день, когда казалось, что еще одна атака — и немцы будут выбиты с вершины кургана, он укрывался в парном окопе с солдатом-сибиряком, добродушным и неторопливым. Когда вражеские танки прорвались во фланг русским, оба солдата приготовились встретить их зажигательными бутылками. Один танк был уже совсем близко, и сибиряк выбежал ему навстречу, держа в каждой руке по бутылке. Пуля попала в одну бутылку — и солдата охватило пламя. В пылающей одежде он вскочил на вражеский танк и разбил вторую бутылку.

Ужас стиснул сердце Кузьмы. Он прижался к стенке окопа, зажмурился, чтобы не видеть, как вместе с вражеским танком горит его товарищ... Гудела и стонала от взрывов земля. А Кузьма сидел в окопе, как крот в норе, отрешенный от всего на свете...

Но вот он опомнился: «Что это я?» Машинально поправил каску на голове, проверил патроны в магазине винтовки, крепко ли сидит на ней штык.

Размышлять ему долго не пришлось, потому что в окоп мешком свалился боец, запаренный, с трудом переводивший дыхание, несколько минут лежал ничком неподвижно. Кузьма поднес к его рту фляжку с водой, тот глотнул и крикнул осипшим голосом:

— Атака началась.

Боец вылез из окопа. Кузьма, не мешкая, выскочил следом за ним и увидел бегущих на подъем однополчан. Рядом раздался пронзительный крик:

— Вперед! Ура-а-а!

Кузьма перестал ощущать свое тело, казалось, он не бежал, а летел по воздуху, ничего не видя, и только в ушах шумело до режущей боли... Вдруг его толкнуло в ногу. Пробежав несколько шагов, он упал. Боли не было, но он понял, что ранен, и хотел осмотреть ноги, но в тот же миг увидел в двух шагах от себя немца. Немец до плечей высунулся из окопа, припав щекой к автомату, направленному на Кузьму. «Все! Конец!» — мелькнуло в голове Кузьмы.

...Его подобрали в сумерках. Над головой качались тусклые звезды, кружилась голова. Сознание заволокло туманом. Снова он пришел в себя при ярком электрическом свете, ощутил на лице чьи-то руки, увидел людей в белых халатах. Женщина сказала:

— Совсем еще мальчик.

Потом ему стало очень больно, и он сначала застонал, а скоро стон перешел в крик. Все тот же женский голос звучал ласково:

— Ну, покричи, покричи...

Когда боль прекратилась, он тихо спросил:

— Доктор, нога осталась?

— А что, дорожишь ногой-то?

— А как же, ходить надо.

— Осталась, осталась.

Его перевязывали, и было уже хорошо, покойно, если не считать шум в висках и слабости во всем теле. А на соседнем столе за простыней, служившей перегородкой, оперировали другого раненого, который отчаянно матерился. Кузьма узнал по голосу ефрейтора из своего отделения и окликнул его:

— Кокорев, тебя тоже ранило?

— Ой... шарахнуло, — и последовала отборная ругань. — А кто спрашивает?..

Когда Кузьму вынесли на носилках из операционной и положили на солому, застеленную ватным одеялом, старшина медсанбата подал ему стакан водки.

— Прими послеоперационную.

Кузьма выпил, поел и моментально уснул, забыв про боли. Боли напомнили о себе позднее, когда снова делали рассечение ран и прочищали их... Полтора года провел он в госпиталях. Его признали негодным к строевой службе, и воевать ему больше не пришлось.

— Вот и все!

— Жутко все это, отец!

— Конечно. — Кузьма шумно вздохнул, не торопясь стал закуривать и после первой затяжки продолжал: — Не верь тому, кто скажет, что храбрый смерти не боится. Все ее боятся, но некоторые презирают.

— А герои?

— Героями делаются не по намерению, что ли. Наверное, никто не думает: сделаю я то-то и буду героем. Вот тот, который сам сгорел и танк немецкий сжег... За минуту до этого ему и в голову, думаю, это не приходило. А как загорелся сам, тут и сработал внутренний механизм, в душе, значит, — прыгнуть на танк, все равно погибать. Тут уж о своей жизни не думается, все в тебе собирается в одну точку: бить врага... Может, эти мысли мне потом пришли, не знаю. Знаю только одно: надо было стрелять, надо было идти в атаку... И мы делали это.

Отец докурил, затушил окурок, завернул в клочок бумаги, спрятал в карман.

— Пойдем, жарко очень, устал я что-то.

Уже на ходу он с сожалением сказал:

— Надо было оставить несколько окопов и блиндажей... Для наглядности вам, молодым.

8

Оркестр играл веселое, играл слишком громко. Это, видимо, нравилось черному, лаково блестящему негру, танцевавшему с белой русоволосой девушкой. Негру улыбался, красные вывернутые губы его растянулись по широкому лицу, большие выпуклые глаза с желтыми белками влажнели, длинные с розовыми ладонями руки крепко прижимали девушку. Пара иностранцев — толстячок средних лет с безволосой головой и поджарая старуха, лихо выламывалась в твисте.

Сидя за бутылкой пива, Митя смотрел на этих незнакомых людей, собравшихся в ресторане, и чувствовал себя непривычно. Оставив отца отдыхать, он побродил по городу, зашел в ресторан от скуки. Но, пробыв полчаса, он стал жалеть, что зашел сюда. А пойти в незнакомом городе было некуда, и он сидел, наблюдая за посетителями. Судя по всему, тут были главным образом туристы. Зачем они приехали? Что их влекло сюда?

И что они увезут отсюда? Осколки, таившие когда-то смерть и теперь безопасные? Ружейные гильзы, позеленевшие от времени? Фотоснимки собственной персоны на фоне фигуры скорбящей матери? Или воспоминание о любовном приключении, случившемся в этих местах?

К столу, за которым он сидел, подошла парочка, разорвавшая в танце, заняла свои стулья. Молодой мужчина усадил подругу, поцеловал ее в рдеющую щеку, налил в бокалы вина. Они молча немного выпили и стали закусывать шоколадом, влюбленно глядя друг другу в глаза.

Оркестр на время умолк, и стало слышно позвякивание посуды и приборов, разговор, сливавшийся в нестройный, еще трезвый шумок. Все были хорошо, по моде одеты, выглядели здоровыми и беззаботно уверенными в себе, как выглядят люди на подступах к солидным должностям или уже занимающие их. Так по крайней мере казалось Мите. Еще он отметил про себя, что большинство мужчин были моложе его отца.

«Значит, почти все тут не нюхавшие войны, — решил Митя. — В войну или под стол пешком ходили, или еще не были в проектах... — Поглядывая на веселые, самодовольные лица подвыпивших посетителей ресторана, он неожиданно для самого себя почувствовал гордость. — А вот мой батя воевал. И ранен... А те... семь с лишним тысяч... зарытые в кургане... они сейчас не были бы еще стариками, могли бы пить вино, танцевать, целовать женщин... У большинства из тех не осталось потомства: они были очень, очень молоды...»

Подобные мысли никогда прежде не занимали его ум и обожгли своей обнаженной сутью мальчишескую душу. Он даже покраснел и отвел глаза от целующихся соседей по столу...

Раздумье Мити прервал оркестр. Ударил барабан, звякнули медные тарелки, заныла скрипка, застонали саксофоны, засвистели флейты, зарокотала труба. Митя пробрался мимо танцующих к выходу, на улице снял душивший галстук, засунул в карман.

9

Когда Митя пришел в общежитие, отец пил чай с сушками.

— Не ожидал, что вернешься так скоро, — сказал отец.

— Хватит, нагулялся.

— Пей чай.

— Не хочу, пива выпил.

Митя разделся, лег на кровать, закинув руки под затылок, смотрел на отца, как тот, разломив сушку в горсти одним сжатием пальцев, клал в рот обломок за обломком, с хрустом дробил зубами, потом запивал чаем.

— Папа.

Отец медленно повернул голову на зов сына.

— Папа, ты встречал кого-нибудь из своих фронтовиков?

— Нет, не доводилось.

— А остался кто в живых?

— Не знаю. Должны быть. Раненых из нашей роты встречал. В медсанбате. А потом разъединили нас. В госпиталях-то сортировали не по службе и не по дружбе, а по увечью. Ну и развезли кого куда.

— Я в газете читал... в Москве, в сквере у Большого театра, каждый год собираются летчики одной эскадрильи. Вот бы вам собраться.

— Интересно бы.

Помолчали.

— Да, так вот. Двадцать восемь лет прошло, — сказал отец, разбирая постель.

— С тех пор как ты на кургане-то?

— Да. Двадцать восемь!..

— Это чуть не в два раза больше, чем я живу на свете.

— И вот — встреча с прошлым... — Кузьма не договорил и умолк.

Он скоро уснул, а Митя лежал с открытыми глазами. Впервые отец предстал перед ним иным, более значимым, более понятным и более близким. Впервые Митя остро осознал себя частицей отца, его продолжением. И это прозрение удивило его и навело на мысль, что с отцом его связывает не только плоть, но и еще наследство души, хотя они так непохожи друг на друга.

Потом мысли незаметно вернули его в минувший день. В глазах стояли то каменный образ бойца с гранатой в руке, то живой, одноногий человек, плачущий у стены с именами павших, то отец в каком-то непривычном, нетеперешнем облике. Помимо воли воображалось, что это он, Митя, бросает гранату, он бежит с

винтовкой. Глаза защипало, сердце переполнялось гордостью.

Среди ночи заворочался на кровати отец, покряхтел, погладил ноющие ноги, долго пытался уложить их поудобнее. В комнате было тихо, но чутьем уловил он, что сын не спит.

— Митя, почему не спишь?

Митя ответил не сразу:

— Да так... в голову лезет разное.

— Спи! — сказал отец ласково и подумал: «Это хорошо, когда думаешь по ночам: значит, взрослешь».

И опять тихо стало в комнате. Отец и сын лежали не шевелясь, не спали, думая каждый свою думу.

Млечный Путь

С юга дул ветер, вздымал широкую равнину реки, и она бугрилась вспененными волнами, переливалась искристыми блестками под нестерпимо жарким солнцем, расплавленным в высоком бесцветном небе. Волны катились против течения медленно, с тяжелым вздохом, и лишь у берега бежали с веселой торопливостью, качали кусты тальников.

У низкого левого берега стоял на плаву привязанный канатами к дубам плот, жалобно скрипел в гибких обвязках. Чуть поодаль болтались на волнах, позвякивая цепями, грубо сделанные из тесин лодки.

Весь берег был беспорядочно завален бревнами, канатами, железными бочками. Осев гусеницами в изрытом грунте, замер черный трактор со свернувшимся в кольцо стальным тросом. В зеленоватой тени дуба пряталась большая палатка, другая, совсем маленькая, приютилась в кустах краснотала. Дощатый стол и лавки вокруг него были устроены на вбитых в песок неошкуренных ветловых кольях. Одинокий костер тлел догорающими головешками, ветер срывал с них синие дымки, выдувал бесильные, гаснущие на лету искры. Запах дыма, сосновых бревен, горячего песка и бензина стойко держался даже при ветре...

Раздвинулся лаз маленькой палатки, и, согнувшись, вышла из нее Анята, выпрямилась, босая прошла по горячему песку к роднику, набрала ведро воды и, раздевшись в кустах догола, облилась с головы. Потом оделась и долго плескала ледяной водой на лицо и шею.

Анята — повариха в бригаде колхозников из степного села Звонаревки. Каждый год колхоз посылает своих

людей на лесозаготовки в верховья Камы, а когда прибывает плот, звонаревцы вытаскивают бревна на берег и на грузовиках отвозят в село... Так делается не один уже год. Анюта попала на выгрузку леса впервые.

Вода немного освежила горячее лицо, и девушка, не утираясь, подставила его ветру. Анюта принялась готовить ужин. Скоро минет самый жаркий час дня, вылезут из палатки работники, искупаются, покурят, станут трудиться до вечера. Анюте надо накормить десять здоровых мужиков и парней.

Неслышно ступая по песку, прошел бригадир, по-монгольски скуластый, обросший колючей седой щетинкой, ошалело залез в реку в штанах, поплескался, снял рубашку, окунул в воду, напялил на себя, побрякивая от удовольствия.

— Ну и жара! — сказал он хриплым со сна голосом. — В палатке дышать нечем. — Сел на лавку. С него текла вода. Покуривая, бригадир смотрел в речную даль блеклыми немолодыми глазами, скреб волосатую грудь. — Сейчас бы обложного дождя. Без ветра, на сутки бы.

Помолчал.

— Ты чего-то, Анна, как немая, молчишь?

— Я тебя слушаю, дядя Семен.

— А чего я говорил?

— Про жару.

— Кому я говорил? Тебе. А ты — ни слова.

— Чего же сказать? Согласна с тобой.

— То-то. Согласна, а молчишь.

Девушка рассмеялась.

— От жары у меня язык не ворочается.

— Чем кормить будешь?

— Продукт известный: пшенный суп с картошкой под названием «полевой».

— Салом заправь.

— А как же! На сале лук поджарю.

— Свари погуще, вроде каши.

— Ладно.

Семен опять помолчал, хмурия лохматые спутанные брови, крякнул раз, другой.

— Вот что, Анна... Ты того... Саньку не тревожь!

Девушка удивленно подняла брови, нож остановился со шкуркой картофелины в неподвижных пальцах.

— То есть как это? — занозисто спросила она.

— Ну, сама понимать должна. Одета ты вон как... все на виду.

— Одета, как все женщины летом.

— Ну, может, в селе либо в городе, так и сошло бы. А тут ты одна среди мужского населения. Иные ничего, а Санька... он, сама знаешь, шутоломный. Давеча выпялился на тебя, не туда трактор повернул, связку бревен рассыпал.

— Из-за меня? — длинные глаза Анюты сверкнули озорной радостью.

— Из-за тебя.

— Все мужики, кроме тебя, в одних трусиках работают. Я не в претензии к ним. А я в одном лифчике и трусиках не хожу, на мне еще платье.

— Какое там платье! Видимость одна. Ситчик тоненький, наскрозь просвечивает.

— Вам всем жарко, а мне нет? А? Мне не жарко? — сердясь, произнесла Анюта.

— И тебе жарко. — Семен прижал ладонь с растопыренными пальцами к груди, умоляюще взглянул на девушку: — Но пойми... ты на работе, а не на пляже.

Анюта пожала плечами, и нож быстро побежал по картофелине, срезая лентой кожуру.

...До заката грохотал на берегу трактор. Полуголые загорелые мужики и парни ходили по плоту с баграми, лазили в реке, заводя вокруг бревен цепи и тросы. Пачки из пяти-шести бревен трактор волочил по берегу на гриву, а там их катали на грузовик с прицепом. Плот был большой и, казалось Анюте, не убывал.

В кабине трактора сидел Санька. Чистенький кокетливый берет на чубатой голове без единого масляного пятнышка. До пояса Санька голый, и, когда передвигает рычаги, на плечах и груди мышками бегают под кожей мускулы. Из-под широких, сросшихся на переносье бровей добродушно смотрят тихие глаза.

Санька теперь часто поглядывал на Анюту. Раньше она казалась ему обыкновенной девчонкой, как другие одноклассницы, а тут вдруг все в ней будто сияло: и стройность тела, и легкость движений, и горячие глаза, и звучный голос, — все это слилось в одно прекрасное, не дававшее Саньке покоя.

Когда он чувствовал на себе короткий взгляд Анюты, ему вдруг хотелось громко смеяться, делать глупости, а

если в эту минуту был на тракторе, то так газовал, что мотор выл, сотрясая всю машину, рвал стальной трос, тянувший бревна. Под крики людей и ругань бригадира Санька вылезал из трактора и с виноватой улыбкой ловко связывал трос, и важнее всего для него было знать, наблюдает ли за этой работой Анята.

Санька пробовал ухаживать за девушкой, но она однажды насмешливо сказала: «Ты что это, Саша, вроде обхаживаешь меня. Не надо, не стоит». Некоторое время он держался от нее подальше, но вздыхал и всячески старался показаться ей лучше всех.

Мужики посмеивались, а парни наедине говорили ему: «Зря стараешься. Она к изыскателям ходит, там ее привлекает инженер».

Санька знал, что Анята бывает у изыскателей, чьи палатки стоят в километре от реки, у степного камышистого озера, но про инженера не верил: болтают ребята.

Вечера и ночи стояли сухие. Со степи плыла жара, пропитанная горьковатым запахом полыни. Медленно поднималась луна, обливая плоскую землю тревожным светом.

Засветло поужинав, работники отдыхали, покуривая и лениво рассказывая разные истории и побасенки. А когда вечерняя синева загустела и в ней стали тонуть деревья, бригадир окликнул Аняту, спросил чаю.

— Чай готов, — отозвалась Анята из своей палатки. Чай пили неторопливо.

Бригадир загнул рукав куртки, посмотрел на часы.

— Время детское... Сань, а Сань, где ты?

— Тут я...

— Может, потешишь? — Бригадир встал, бросил в костер охапку валежника, а сверху зеленых веток. Свет померк, и в сумраке люди казались бесплотными, плоскими, как тени. Но вот сквозь беловато-зеленый дым зазмеились огоньки, потом постепенно слились в пламя, и разом вспыхнувший свет оживил фигуры людей.

Молча сходил Санька в палатку, вернулся с гармошкой под мышкой, постоял, глядя в сторону, где была Анята, наконец сел и растянул гармошку. Ситцевые, в цветочках, мехи затрепетали, изгибаясь, выдавили нестройные густые звуки, пальцы заходили по ладам мягко, ощупью, и гармошка, всхлипнув, зазвенела.

К костру выступила из темноты Анята, села на ватник. Санька глубоко вздохнул ртом, на миг затаил дыхание и, полузакрыв глаза, запел:

Ма на лодочке катались,
Золотистый, золотой.
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.

Санька потрянул гармошку, она захлебнулась в лихом переборе:

Ленты в бантики, ленты в бантики,
Ленты в банты вяжутся.
Мой миленочек ходит франтиком,
Предо мной куражится.

Мы на лодочке катались,
Ну, и что ж из этого?
Не гребли, а целовались,
Ну, нельзя ж без этого.

Долго пел Санька, а когда умолк и небрежно положил гармошку на колени, Семен воскликнул:

— Ах, мошенник! Ах, злодей! Артист! В город бы тебе, в какой-нибудь дворец культуры. Там бы тебя приметили, там бы ты взошел... да, взошел... А что тут у нас?..

— Я, может, и махну куда, — ответил Санька. — Я одними «Саратовскими страданиями» кусок хлеба заработаю.

— Очень просто, — согласился бригадир. — Нынче песенники в моде.

— Я спою одну старинную песню.

— Давай!

Санька привалился спиной к чурбаку и так, полулежа, запел. Тихий голос шел из груди, сдерживаемый напряженным чувством, будто стыдился чего-то. Постепенно он крепчал, обрастал оттенками, и, казалось, в голос, ведущий основную мелодию, вплетался подголосок, окрашивая песню цветным узором. Иногда голос взбирался на высокие женские ноты, трепетал, готовый порваться, как тонкая нить под непомерной тяжестью, но не обрывался, а плавно опускался на низкий тембр.

Слова песни были простые: о девушке, силой выданной за немилого, о любви ее к «ясному соколу», о верности сердца ее до «самой смертыньки».

Песня закончилась на протяжном полушепоте, последний звук ее не оборвался, а угас медленно, слился с ти-

шиной. Певец полулежал, глядя куда-то в ночь невидящими глазами...

Анюта сидела, сложив руки под грудью, широко раскрытые глаза ее, не мигая, глядели в костер. Лицо у нее было грустное.

Никому не хотелось говорить. И никто не уходил от костра.

Вдруг Анюта быстро встала, накинула на плечи теплую кофту, сказала, не обращаясь ни к кому:

— Я ушла.

— Надолго? — спросил бригадир.

— На сколько надо.

Она взбежала по сыпкому песку на гриву и скрылась в темном лесу.

Санька догнал ее на лугу, пошел рядом.

— Ты куда? — спросила Анюта.

— Так... пройтись...

Помолчали.

Анюта думала о том, как она придет к палаткам изыскателей, как посидит в кругу парней и девушек, наслушается интересных разговоров и как потом пойдет провожать ее инженер Самородов, сильный, загорелый, голубоглазый, с отрастающей бородкой, добела выгоревшей на солнце. Он будет вести ее под руку, и они будут идти не спеша сначала степью, потом волжским займищем... Так бывало уже много раз, и думать об этом Анюте приятно...

Санька вдруг схватил ее за руку, остановил.

— Долго я буду ходить за тобой?

— Не ходи: я не зову.

— Это верно, — с обидой произнес Санька, выпуская ее руку. — Не зовешь, я сам.

Анюта неторопливо пошла, Санька все забежал наперед и говорил, говорил.

— Не могу я без тебя. Понимаешь? Смотрю на тебя, и ум мутится, ничего из-за тебя не вижу, ничто не мило... Я бы женился на тебе. А?

— Тоже мне жених! — Анюта прыснула.

— Ты не смейся, — сказал Санька еле слышно. — Я бы тебя всю жизнь любил. Не пропадем! А? Я никакой работы не боюсь.

— Знаю. И хороший ты и работающий. Но я без тебя могу жизнь прожить.

— А без инженера не можешь? Ну, что тебе в нем? Уедет — и все! Растает, как снег весной.

— Тебе-то какая забота?

— Да так.

— Ну, вот что... Я свою дорогу знаю, не заблужусь. А ты иди своей.

Саньке стало жарко от хлынувшей к лицу крови, от досады он онемел, мгновение стоял навтыяжку, потом сорвался и побежал напрямик, шурша сухой травой.

Давно вошло солнце, и уже воздух прогрелся, и река сверкала солнечной рябью. Ветер уgomонился, только над водой струился теплый воздух, лениво ерошил листья на деревьях. Острый хвойный запах мешался с горечью дыма.

У костра над котлом хлопотала Аня. Покрытое тонким загаром лицо ее выглядело старше, чем обычно, как будто за одну ночь она повзрослела.

Навалясь на стол локтями, сидел Семен. По серому, усталому лицу его бегали тени, и оно казалось более суровым, чем обычно.

Аня не смотрела на бригадира, но слышала его голос:

— В полночь пришел, стал играть на гармонь, петь. Всех взбулгачил, спать не давал. Стали уgomонять его, урезонивать, а он гармонь как хряснет о бревно — куда планки, куда голоса... все вдребезги. В драку полез — очумел совсем. Впервые напился.

Семен помолчал, ожидая, что скажет Аня, разглядывал шею ее с гладкой коричневатой кожей, торчавшие в стороны острые груди под тонким выгоревшим ситцем.

Вдруг он рассердился на себя, закричал:

— А все ты, ты!..

— При чем тут я!

— Довела. Видишь ведь, влюблен. Ну, хоть пока тут работаем, как-нибудь поровнее ты с ним, помягче. А то рубишь напрямик... И вот — стоим. Грузовики приедут, а у нас ни бревнышка не вытянуто из воды.

— Чего ж Санька не работает?

Семен хотел обозвать ее за такой вопрос душой, но удержался и спокойно ответил:

— Не может. Утром очухался, попросил прощения... Теперь спит... Ну, ладно... Созывай на завтрак.

Анюта постучала половником по пустому ведру, крикнула протяжно:

— Завтракать, мужички-и-и!

Санька проснулся только в полдень. Было жарко, песок накалился добела, и Санька хмурился, спотыкался, пробираясь к реке.

К вечеру Санька пришел в себя, причесался, побрился, надел чистую рубаху.

Бригадир велел всем собраться у костра. Санька пришел первым. Длинные костистые руки его все время в беспокойном движении: поправляют густые, падающие на лоб волосы, оглаживают подбородок, расправляют мятый ворот рубахи.

Семен медленно закуривал, не зная, как приступить к разговору. Наконец начал:

— Что ж, робята, отдохнули неплохо. А?

В ответ одобрительно загудели все мужики разом.

— Наверстывать придется, робята, — снова слышался голос Семена. — Неуправу нашу исправлять. Дён пять на час раньше утром да на час дольше вечером поработаем. Ну, как?

Работники молчали.

— Ну, как, робята? — повторил вопрос бригадир.

— Наказать Саньку штрафом, — предложил сивоусый тощий мужик с тонкой вертлявой шеей. — На дневной заработок... в общий котел... в воскресенье того... израсходуем с пользой на благо бригады.

Мужики загалдели:

— А шго? Это пойдет.

— Проступок должен быть наказан.

— Приговорим — и точка!

В шуме и хохоте тонули выкрики. Санька натянуто улыбался, мямля сигарету.

Семен покачал головой.

— Ну — народ!

Подумал немного и крикнул Анюте:

— Иди-ко сюда.

Девушка подошла не спеша, плавно, перешагнула через бревнышко, остановилась, стала глядеться в зеркальце.

— Вырядилась? — спросил Семен.

— А что? Я свои дела закончила, ужином покормила и до утра свободная.

— Мы хотим тебя обсудить. — Бригадир крикнул, ища поддержку у собравшихся.

— Ну, что ж, обсуждайте, — спокойно отозвалась Анята, посплюнявила палец, пригладила вздернутую бровь.

— Ты одна женщина среди нас, мужиков... У тебя особая ответственность должна быть... Держать себя в строгости...

— А я что, распустилась? —

— А как же! В брюках ходишь... в платишках в таких... прозрачных... Невтерпеж же мужикам смотреть на тебя... Вон Санька-то дошел...

— Дядя Семен, — сказала Анята, когда бригадир ненадолго замолчал, подыскивая нужные слова. — Вы смешной старикан... Право, смешной. И чудак! До свиданья! До утра!..

Она повернулась спиной к бригадиру и, покачивая узкими бедрами, медленно стала подниматься на гриву. Все молча смотрели ей вслед, пока она не скрылась за кустами.

— Что, Семен, урезонил Аняту? — спросил сивоусый мужик, блестя веселыми глазами. — А какова девка-то! А?.. С такой не всякий сладит.

Бригадир сплюнул, выругался и махнул рукой. Над ним подтрунивали:

— Ты, должно, влюбился в нее.

— Еще чего выдумай! — огрызнулся Семен.

— А что, она уютная-я-я...

— Тьфу! Ржете, как жеребцы. — Семен обиделся не на шутку, достал засаленную тетрадь, стал писать.

— Вот пошлю завтра с шофером записку в правление, пусть заменят ее какой-никакой старухой.

На него зашумели:

— Да ты что? Она ничего плохого не сделала.

— А видали, опять к изыскателям пошла.

— Интересно там — вот и пошла.

— Знаем мы эти интересы, — многозначительно сказал Семен и полез в палатку дописывать записку.

Санька тоже забрался в палатку, переоделся в замасленный комбинезон и через несколько минут уже звякал ключами, что-то подкручивая в тракторе.

Тихий вечер. Закат розовеет в неподвижном остекле-

невшем озере. Между палатками натянуты веревки с бельем.

На лужке с вытоптанной травой горит синий венчик походной газовой плитки, шумит на огне большой чайник. В дрожащем свете костра, который изыскатели жгут «для красоты и для настроения», сидят молодые мужчины и девушки. Все они что-то еще доделывают: кто возится с инструментами, кто записывает цифры в толстую тетрадь, а двое лежат на огромной карте, меряют циркулем и негромко спорят.

Одна Анюта сидит без дела на правах гостыи. Ей нравится этот табор, нравятся добрые приветливые люди, она завидует им, тому, что вот они пройдут стокилометровый путь по степи со своими инструментами, а потом приедут строители и будут копать и делать земляные насыпи там, где укажут изыскатели. Через три года по каналу потечет вода из Волги в степь.

А пока степь дышит сухо, разносит запах соломы, полыни и пыли. Далеко светляками ползают машины, временами слышен их ровный гул.

Один за другим изыскатели заканчивают работу, ужинают. Анюту угощают наперебой, и хотя она поужинала у себя на стане, с удовольствием пьет чай с карамельками. За ужином изыскатели обычно подшучивают друг над другом, иногда слушают магнитофон, танцуют. Анюте весело у них, а так как девушек маловато, всегда есть кому за ней поухаживать.

Так повелось, что больше всех около нее — инженер Самородов. Ему нет и двадцати пяти лет, он тонок, высок. Сегодня он без бороды, и незагорелая кожа на щеках и подбородке выделяется белой полосой.

— Обрился! — произнесла Анюта не то удивленно, не то весело.

— Да так... — Самородов погладил то место, где была борода, застенчиво спросил: — Что, опять не нравится?

— Почему «опять»?

— Прошлый раз ты сказала, что борода мне не идет. Анюта не помнила такого разговора и теперь ничего не ответила.

Он упрямо смотрит на нее и говорит:

— Молодец, что пришла.

Анюта смущается от его взгляда и не вполне понимает похвалу. Тогда он шепчет ей в ухо:

— Я соскучился, ждал.

Танцуя, он не прижимается к ней, как иные парни, а держит ее бережно, легко.

Иногда они подолгу молчат, и Анюте от этого не скучно. Она смотрит на Самородова. Кожа на носу его шелушится, лопнувшая от жары губа с подсыхающей ранкой распухла, темный загар на лбу резко подчеркивает белизну обритых щек. «Какой он пегий», — думает Анюта, и от этой смешной мысли почему-то теплеет у нее на душе. Но она не говорит ему этого.

Анюте хочется, чтобы Самородов поцеловал ее.

В девять часов магнитофон выключен, и все готовятся ко сну.

— Я провожу тебя, — говорит Самородов Анюте.

Они медленно идут степью. Темно, дороги не видно, ноги спотыкаются. Рука Анюты лежит на сгибе жесткого локтя Самородова, и ей легко, надежно. Небо темное и все в звездах.

— Как ярко горит Большая Медведица, — слышит Анюта голос Самородова и, подняв голову, говорит:

— И Полярная звезда хорошо видна.

— И Млечный Путь, — сказал Самородов.

Мы идем с тобой по Млечному Пути,
Никогда до края ночи не дойти.

Помолчал, пошептал про себя и громко закончил:

Я могу идти с тобой средь ночи и средь дня,
Не хочу, чтоб ты покинула меня.

— Это чьи стихи? — спросила Анюта.

— Мои. Сейчас в голову взбрели. Так, сумятица какая-то.

Некоторое время они идут молча. В темноте смутно видны округленные кусты и деревья. Ощупью угадываемая дорога ведет в займище. Пьянее становится запах вянущих на лугах трав, свежеееет воздух.

— Ты кому стихи написал? — нерешительно спросила Анюта.

— Тебе. Говорю, сейчас в голову пришли.

— Правда? — спросила Анюта, останавливаясь.

— Правда.

Самородов легонько взял Анюту за плечи, повернул лицом к себе, и она почувствовала его губы на своих губах.

— Ой! Что ты делаешь!

Самородов покачал головой, тихо рассмеялся.

— Испугалась, чудачка.

Анюта отбежала, оглянулась, не увидела в темноте Самородова и пошла так быстро, словно ноги не касались земли. Сердце гулко колотилось, в висках шумело, и вся она горела, задыхалась. И казалось ей, идет она в неведомый край, не зная зачем, но ни повернуть назад, ни сойти с дороги нет у нее сил.

Стараясь не шуметь, Анюта залезла в свою палатку, разделась и легла, прикрывшись простыней. Лежала с закрытыми глазами, чувствовала, как над ней переливается холодная россыпь голубых звезд. И было ей хорошо и почему-то жутко в черной молчаливой ночи.

Макар, телячий сторож

Солнце шло на закат и сквозь деревья в долине реки прорывалось пронзительными оранжевыми полосами. Пойменный лес отпечатал на бугристом берегу черные рваные тени. Из-под навеса, где мы сидели, кроме приречного леса виднелось ржаное поле, в которое нырнула желтая дорога. Рожь золотилась, и над ней что-то сеялось, похожее на пыль, — должно быть, это была игра закатного света.

Мы сидели с Макаром на чурбаках, между нами стоял на табурете деревянный жбан с квасом, только что принесенный из погреба женой Макара Дарьей. Кругленькая, плотненькая, с румяным лицом, Дарья сказала мне с доброй улыбкой:

— Пейте на здоровье! День-то вон какой знойный был, а вы все по полям да все по жаре.

В деревню я приехал по делам службы и с утра до вечера пропадал на полевых станах, куда уже пригоняли комбайны. Жил я у Макара, ночного сторожа колхозного телятника.

Мы попивали холодный хлебный квас и разговаривали о разных пустяках. Разговор шел вялый. Спросит Макар, где я побывал за день, что видел, а я отвечу. И после этого опять молчим.

Лицо у Макара худое, все в мелких морщинах, старательно выбритое. Блеклые голубые глаза смотрят печально, так и кажется, что из них брызнут слезы.

— У вас что-нибудь случилось? — спросил я.

— Нет.

— Задумчивый вы какой-то сегодня.

— Это так... — и он легонько махнул рукой, будто отгонял муху.

Разговор не вязался не только потому, что мы были истомлены жарой, а просто по какой-то непонятной причине. И нам обоим было неловко. Вдруг Макар быстро вскочил и резко побежал в избу. Вернулся веселый, вытащил из-за пазухи початую бутылку водки, налил в стаканы.

— Сверху квасом замажем. А то Дарья увидит — беда!

— Запрещает?

— У-у! Строга!

Мы выпили. Макар поставил водку за поленницу, вынул из кармана свежие огурцы.

— У меня ведь четыре инфаркта было, вот Дарья и боится за меня. — На лице Макара заиграла гордая улыбка. — Да, четыре инфаркта.

— Даже после третьего инфаркта не выживают, — возразил я.

— А у меня было четыре, и я выжил. Врачи признали, что редкий случай. Меня в Саратове профессора студентам показывали. Через это я прославился, даже в Москве об этом случае знают.

Хмелея, Макар говорил все оживленнее, глаза весело блестели, а ссохшееся тело оставалось неподвижным. Он шевелился лишь для того, чтобы глотнуть из стакана да откусить от огурца. В этой позе покоя было что-то от величия, которое он в себе сознавал.

— Через эти инфаркты-то Дарья чуть не потеряла меня.

— Овдоветь, конечно, страшно.

— Вдовство что? И вдовы замуж выходят. Погоди-ка! — Легко вскочив, он юркнул к поленнице, опорожнил в стаканы бутылку, долил квасу. — Глотнем маленько... Да, вдова, знамо дело, мирская трава: кто мимо идет, тот и щиплет. Но тут дела иная! — Помотав головой, Макар хохотнул, потом лихо сдвинул кепчонку на затылок, облизал подсыхающую лопинку на нижней губе и по-орлиному вскинул на меня свой взгляд. — Лежал, значит, я в больнице после четвертого инфаркта. Выздоровел совсем. Гуляю по саду и через скамейки прыгаю. Бегом запросто по полчаса вкалывал. Во-от! Все дивятся. А особенно одна врачиха, женщина. Таких женщин я никогда во всю жизнь не встречал. Красавица самого высшего уровня. Росточком невелика, чуток повыше моего уха. Ну ладная, прямо точеная вся. Румяная, бархатистая,

ровно как анисовое яблоко. И вот все расспрашивает меня, все выведывает, как я жил да все такое прочее. И про жену, как я, значит, охоч ли до женщин. И такие у нас беседы приключались, что надо бы теснее, да некуда... Вижу — влюбилась она в меня. Не выдержал я, написал Дарье: приезжай, а то, мол, пропаду, соблазнюсь, мол, тут одной. Увезла меня Дарья домой.

— Почему вы решили, что врач влюбилась в вас?

— По глазам видел. Смотрела на меня так... ну душу из меня вынала... Глаза, брат, яснее ясного обо всем говорят... Жалко мне ее: поди, страдала. Но я иначе не мог: у меня жена. Да, чуть не увела она меня от Дарьи.

Заметив мою недоверчивую улыбку, Макар поспешно заговорил о другом:

— А еще знаете кто мной интересовался? — И он назвал фамилию известного государственного деятеля. — Сюда ко мне приезжал.

— Сюда приезжал?

— Да. — Отхлебнув из стакана, Макар сдвинул к переносью длинноволосые седые брови, в которых запутались опилки, и стал рассказывать плавным полусшепотом, как рассказывают деревенские бабки сказки своим внукам: — Было это в апреле. Услышали мы по радио, как Гагарин из космоса спустился возле Саратова. Разговору было — на корабле не увезешь. А на другой день вдруг въезжают в нашу Александровку много машин и подкапывают к моему дому. Из «Чайки» выходит он — самый на́большой, за ним — Гагарин и мой зять Иван. Он в Москве служит, ну, значит, сопровождал на́большого. Иван ко мне, обнял и говорит: «Мы к тебе в гости, дорогой тесть. — Показывает на самого главного начальника и спрашивает: — Знаешь, кто это?» Говорю: «Знаю. В газетах все время его портреты». А тот мне руку подает. Потом Гагарин со мной поручкался, а уже после все остальное начальство.

В этом месте рассказа пришлось Макару прерваться, потому что пришла корова, и он загонял ее в хлев и звал Дарью, возившуюся на огороде.

Дарья прошла мимо нас, помыла руки, потом скрылась с подойником в хлеве, и тогда Макар продолжал рассказ:

— Я оробел попервоначалу: куда столько гостей, в из-

бе не поместятся. Но все же приглашаю в дом. А главный-то и говорит: «Спасибо. Лучше мы на вольном воздухе — вон в саду под цветущими яблонями». Ну, тут подчиненные достали из машин целлофан, постелили под яблонями. Я шепчу зятю, мол, самогонки у меня мало, в сельпо за водкой сбегая. А зять смеется: «У нас с собой все есть». И довольный подходит к машине и начинает вытаскивать из багажников водку. А закусочка! Всего под завязку! Вот уж попируем! Точно. Икра черная и красная, ветчина, копченая колбаса, сыр в тубиках: нажмешь — и червяком выползает. Даже вобла вяленая. А консервы: открываешь банку, разогреешь — и свежая рыба, осетрина, будто только пойманная. Дарья огурцов соленых принесла, а у них свои огурчики, по мизинчику, в банках... Ну, я не стерпел. Это же унижать себя, чтобы не угостить. Я враз барана зарезал и давай с Дарьей на десяти сковородах шашлык готовить. Все получилось высшим сортом. Меня и Дарью вместе со всеми гостями позвали... Славно погуляли, выпили, поели. А к вечеру гости разъехались.

— Мне помнится, Гагарина с места приземления на вертолете отправили в дом отдыха на Волге, — осторожно сказал я.

— Верно, на вертолете в Саратов, а потом уже дальше, в Москву.

— В газетах иначе было, — начал я, но Макар не дослушал меня.

— В газетах было, а на самом деле, как я говорю.

— Зачем же это?

— Конспирация! — строго произнес Макар, и глаза его посуровели. — Мне зять Иван сказал... Ко мне потом из областной газеты приезжали, спрашивали, фотографию просили. Ну, я заперся, ничего, мол, не знаю. Иван так велел.

— Какую фотографию просили?

— Ну, портрет самого главного. Он мне подарил, написал: «Спасибо за гостеприимство...». Где-то лежит он у меня, как-нибудь найду и покажу. В секрете держу, а в деревне все узнается, вот и до газеты дошло.

— Молочка парного не хотите ли? — звонким голосом спросила Дарья, выйдя из хлева с полным подойником.

Мы отказались от молока.

Допили из кружек, и Макар повел меня в сад, ткнул пальцем в сторону старой ветвистой яблони.

— Вот тут сидели.

В жесте и в манере, с какой были произнесены эти слова, выражалось что-то артистическое, вдохновенное.

Осмотрев сад и огород, я спросил, как велик приусадебный участок.

— Полтора гектара.

— Но ведь так много не положено по закону.

— Мало ли что по закону. — Макар с высокомерием поглядел на меня. — Туда, в поле, сколько надо, столько и засаживаю огородом.

— Много овощей собираете?

— У-у... Под завязку!

В междурядьях сада стояли ульи.

— Много у вас пчел? — спросил я.

— Тут четыре улья да еще десять ульев в лесу, у лесника. Там липовый, а тут цветочный.

— Богатый нынче медосбор?

— Меду под завязку!

— Продаете?

— Нет. Мед детям отдаю, угощаю друзей. Прошлым летом из Москвы внучка отдыхать приехала. Школу кончила, в институт поступила. Как уезжала, я ей два бидона... сто кило меду дал. А тут, в городе Петровске сын у меня, на заводе работает. Его с семьей медом обеспечиваю. Я все детям, все детям, а без меня они куды? Пропадут! Где им!..

Дарья звала обедать. Когда мы подошли к крыльцу, на котором она стояла, приветливо спросила:

— Проголодались? — И сама ответила: — Знамо дело. промялись за день-то, идемте, а то яичница простынет.

Только уселись за стол, как она насмешливо посмотрела на мужа.

— Э-э, батя! Когда ты успел хлебнуть? А?

— Да чего ты!

— Ничего. Вижу.

— Квас только и пили, — оправдывался Макар по-ребячьи и прятал глаза. — Положи мне салату... Скажешь тоже — «хлебнул». Тебе все мерещится, все мерещится. — В голосе Макара нарастал атакующий накал.

— Да ведь я что? — стала оправдываться Дарья. — Мне не жалко, только тебе на дежурство идти.

— Ну и что. — Заискивающий взгляд Макара ласкал жену. — Запрусь в телятнике, ляжу на топчане и усну... Если бы выпил, тогда... А я ни в одном глазу.

— Так может налить? — в добрых глазах Дарьи искрился смех.

— Не хочется чего-то, — морщинки кисло сбежались ко рту Макара.

— Значит, хлебнул уже, раз не хочешь.

— В таком разе налей, а то не отвяжешься от тебя.

Дарья поставила на стол графин с брагой — медовухой.

После ужина мы сидели на лавочке в палисаднике. Покуривая трубку, Макар звал меня на осеннюю охоту.

— Уток нынче — под завязку. Под каждым кустом гнездо, а сейчас выводки один за другим плавают по Медведице и по озерам.

— А может, не разрешат осеннюю охоту?

— Ну и что! Я сам общественный охотничий инспектор, у меня где-то бумажка валяется. Мне поручено тут по всей округе досматривать.

Макар все больше хорохорился и распалялся:

— Для вас я и закон нарушу. Вам ведь много не надо, десятка три кряковых за день возьмем — и хватит. А себе я завсегда добуду. Утка, что? Забава — влёт пострелять, только и всего. А я по первому зазимку лося завалю и всю зиму с мясом.

— Разве лоси тут водятся?

— У-у! Зимой у меня за ночь стог сена съели. Живу-то я на краю села, ну, пришли запросто, утром гляжу — стога как не бывало... подчистую. Во-от!

Закат давно истлел, и отсветы его затухали на пушистом облаке высоко в небе. Проплыл мотоцикл по улице.

— Бригадир прибыл, — сказал Макар. — Надо мне на пост заступать, телят, поди, пригнали.

Макар засуетился, вскочил с лавочки, снова сел, опять поднялся, шарил по карманам.

— Дратву в карман положил, а не найду. Я ведь там сапожничаю. Все девки в моих туфельках гуляют. А сейчас одной моднице по последнему фасону шью.

Наконец он пошел, крикнув на ходу жене:

— Я ушел, Дарья.

— Слышу, — отозвался голос из пристройки, а вслед затем вышла из дверей и Дарья. Платок с головы ее был

снят, и седые гладко причесанные волосы казались особенно белыми по сравнению с румяным загорелым лицом. Она была на десять лет моложе мужа, морщины тоже расписали ее щеки и шею, но румянец и добрые глаза молодили ее, особенно рядом с Макаром.

— Ты не забыл, завтра Геннадий приезжает.

— Не забыл, — отозвался Макар не оборачиваясь.

Дарья провожала его взглядом, пока сутулая фигура не скрылась за домами.

— Он, оказывается, сапожник, — сказал я.

Веселый смех всколыхнул маленькое крепкое тело женщины.

— Поди, выхвалялся вам?

— Да нет, просто сказал, что в телятнике, на дежурстве сапожничают.

Дарья сжала пальцы в маленькие кулачки и стукнула ими друг о друга.

— Какой он сапожник! Валенки подшить может... — Она шумно вздохнула: — И что с ним делать? Какая-то липучая болезнь у него.

— О чем вы? — спросил я.

— Да вранье это. Всю жизнь это у него, смолоду, говорят, сыздетства. Выдумывает и выдумывает то, чего и не было. Никто не верит ему, а он сам себе верит. А уж как рюмка за ворот попала, тут уж не удержишь... Он, наверно, наговорил вам. В сад водил, хвалился?

— Сад хороший, ухоженный.

— Сколько яблоней сказал?

— Не было об этом разговору.

— А приусадебным участком?

— Сказал полтора гектара.

— Шесть соток... больше нам и не надо.

— Один картофельник полгектара.

— Так это колхозный картофельник, не наш... Он всем приезжим хвастает, кому скажет гектар, кому полтора, а кому и все два.

Покачав головой, поохав и повздыхав, Дарья с улыбкой спросила:

— А уж про Гагарина-то, наверно, рассказывал?.. Ничего ведь и не было. Все смеются над этой сказкой, а он рад каждому новому человеку рассказывать. Ну, разве это не болезнь прилипла к нему? И чем только ее вылечить?

— Мне тоже не верилось, но слушать было интересно.

— Это он умеет! — с гордостью произнесла Дарья.

— А зягь-то в Москве у вас есть?

— Есть, это правда. А все остальное он выдумал... — Помолчав, она глубокомысленно сказала: — Я думаю, это у него вроде гордости... чтобы, значит, на других людей не быть похожим. Вот, мол, какой я, своеобразный, от всех отличный... До пенсии он на полевых работах был, все на народе, так попадало ему. Начнет врать, — все заслушаются, с хохоту покатываются, а работа стоит. Теперь он ночью в телятнике один, днем со мной, ну и рад, кто встретится. И ведь все это без всякой корысти для себя.

Дарья закрыла двери хлева, загнала кур в курятник, посмотрела на небо.

— Сейчас самые короткие ночи. Девять часов, а светлынь, курицы и те еще видят... Чай согреть?

— Нет, спасибо!

— Ну, тогда молоком холодным напою...

На другой день, когда я вернулся к вечеру с полей, у палисадника стоял «Запорожец». В пристройке сидели кроме хозяев мужчина лет тридцати, очень похожий на Дарью, и женщина в брюках и безрукавной ситцевой блузке. Я догадался, что это сын Макара и Дарьи Геннадий с женой.

Мы познакомились, и не успел завязаться общий разговор, как Геннадий предложил пойти на Медведицу купаться.

— И я пойду, — сказал Макар. — Бредень возьмем, рыбы наловим.

— Батя! — Геннадий улыбнулся с хитрой усмешечкой в точности, как это делала вчера Дарья. — Бредень запрещен.

Старик вначале как бы задумался в растерянности, потом очень решительно и с нотками пренебрежительности в голосе ответил:

— Я общественный рыбный инспектор. У меня где-то есть бумажка. Имею право ловить чем хочу для изучения.

— Для какого изучения? — усмешливо спросил Геннадий.

— Для какого, для какого!.. Ну, узнать, какая рыба водится... много ли сорной рыбы... чем кормится, скажем,

лещ, чем голавль... Мало ли чего изучают... А потом поймей в виду: бредень запрещен на больших реках, а Медведица — непромысловая река.

— Ну, ладно, пошли! — сдался Геннадий.

Мы шли к реке сначала мимо картофельника, потом заливным лугом и, наконец, по песчаному спуску. Медведица струилась в крутых берегах, в мелкой ряби дробились отражения прибрежных деревьев. Впереди шел Геннадий с бреднем на плече, за ним его жена Ася, вихляя круглыми бедрами в тесных брюках. Мы с Макаром немого поотстали. Я спросил, какая рыба водится в Медведице, и он охотно стал рассказывать.

— Медведица впадает в Дон, а Дон в Азовское море, а то соединяется с морем Черным.

Это мне было не интересно слушать, и я перебил старика:

— Я не про это спрашиваю, по рыбу.

— Про рыбу и я: рыба в Медведице черноморская, азовская и донская.

— Но на Медведице есть плотины, и рыба из Дона пройти не может, — возразил я, на что Макар тотчас же нашелся:

— До того как плотины сделали, зашла сюда рыба из морей.

Я спорить не стал: возможно и так.

— Синьга водится, рыба-игла, стерлядь, — продолжал просвещать меня старик. — Под завязку всякой рыбы. Поэтому и сомов развелось много: есть чем кормиться, он ведь хищник, сом-то.

— И крупные водятся?

— Страсть! Одинова я поймал сома на сорок кило.

— На Волге крупнее бывают.

От моих слов Макар на минуту онемел, в округлившихся глазах его было недоумение, похожее на растерянность. Но он быстро понял свою промашку.

— На неклеименных веслах вешали, а всамделе-то он больше весил. С меня ростом, а я сто семьдесят четыре сантиметра. Измучил он меня вдрызг, — Макар начал самовозгораться, голос его звучал крепче и тоньше. — Заприметил я его в омуте и опустил на веревке крюк стальной, а на крюк насадил кусок сырой свиной печени. На ночь. Пришел утром, потянул веревку — легко пошла. Крюк пустой. Сожрал. Опять насадил печенку. Через

ночь пришел — опять сожрал. Тогда я насадку-то крепко обмотал бичевкой. Ну, стащить ее с крюка он не смог, заглотал и попался. Я сразу понял: сидит на крюке, потому что конец веревки к дереву привязан, и веревка натянулась, как струна на балалайке — прямехонько. Взялся я за веревку, потянул — подалось. Потянул побольше — подалось, но с силой. И вдруг, как рванет меня в омут... с головой нырнул... Вылез, отряхнулся, как утка, опять за веревку ухватился. А он и всплыл. Черный. Усищи длинные. Пастью зубастой чмокает, а глазки злые на меня пялит. Даже страшно стало — сожрет... Слышал я, в какой-то азиатской стране жил хан и держал в бассейне агромадных сомов. Их морили голодом. И бросали в бассейны, кого хан на смерть обрекал. Ну, сомы и терзали людей.

— Вытащили? Или ушел?

— Зачем ушел? Вытащил! Все подтягивал к берегу да отпускал, как рваться зачнет. Целый день да еще ночь провозился. Устал он, я его и выволок на берег. Он и на суше сильно бил хвостом, перевертывался. Ну, я веревку-то укоротил, а его по башке кирпичом пять раз стукнул, угомонил малость... Домой волоку — за мной ребятишки с криком: «Крокодил! Крокодил!..» Дома я взвесил его, сорок с чем-то килограммов потянул. Отрубил себе кило пять, а остальное роздал соседям. Жирнющий, зверюга, был.

Макар снял на ходу потрепанные туфлишки, засунул их за пояс, бесшумно зашагал босиком по траве.

— Хороша наша земля! — с радостным вздохом, почти со стоном, произнес он. — Благодатна и весела.

— Как это «весела»?

— На земле никогда не скучно и неустатошно, как с хорошей бабой. Вот сейчас я иду, будто по бархату, солнышко на покой уходит, звезда проклюнулась в небе, тишина. Хорошо! И душа радуется.

И верно — вечер был хорош. В золотистом сиянии солнца мрели духмяные луга, качалась на ветру верба, задирались широкие листья лопухов, рябея серебристой изнанкой, коростель скрипел свою простую песню.

— Ишь кричит. Это у него песня такая. Лучше не умеет, а поет — значит, хорошо ему. — Макар с мальчишеской легкостью перепрыгнул через ровик и пустился в свои рассуждения: — Рыба — на что молчаливая тварь,

а и то радуется жизни. Вот когда икру мечет, что творится в реке! Осока шевелится, вода всплескивает, и такое чмоканье стоит — будто под каждым кустом парочки целуются. Пра-а... Страсть!... — Тонкий сухой рот Макара раскрылся в улыбке умиления, меж мокрых съеденных до десен зубов, щелкнул язык. — Конечно, у нас в Медведице больших рыбин, как в Волге, нет... Помню, областной съезд колхозников был. Давно это, в первый год как колхозы пошли. Приехали делегаты в Саратов, и привезли, значит, кто чем богат: кто мешок самой первой в мире пшеницы, кто снопы проса, кто огромный калач, на поду в русской печи испеченный. Ну, все это выставлено в коридоре для осмотра. В те поры заседали по неделе и больше. И вот на второй день съезда на сцену втаскивают белугу. Свежую, но уже снулую. Председатель объявил, что, мол, это рыболовецкий колхоз в Волге выловил, а весу в ней тридцать пудов с четвертью. Полтонны. В подарок, значит, съезду. Ну, подивились, похлопали, пошумели, после перерыва белуги не видно, а вечером ее, отварную, с хреном на ужине ели. Говорили, что из нее икры больше пяти пудов достали. Ну, икру я не ел, не знаю... А наш председатель и говорит: «Мотай, Макар, домой и вертайся с Федькой». Так звали у нас барана. Я еще в своем хозяйстве вывел его. Ну, чистый тигр! Десять пудов весу. Теперешние бараны у меня пуд, ну двадцать кило, а тот сто шестьдесят кило. Шерсти по пятнадцать кило настригали. Рога завитые, широкие, в зарубках, как валец белье катать. Силач! Бабы его боялись — под зад рогами любил поддавать. В колхозе у него специальность была: производитель. Ухарь был по этой части... Как велел мне председатель привезти Федьку, так я и возликовал. Думал, насыплем мы соли на хвост волжским рыбакам, посмотрим, чья возьмет. Привез я Федьку, и председатель вывел его на сцену. Тут все ахнули. Никто же не видал такого барана. А он на поводке, как собака, простукал копытами по сцене, покрасовался — и шарики накрошил перед президиумом. Крику, смеху было!.. В перерыв кинулись к нашему председателю ученые, колхозники: покажи барана, расскажи, как вырастили такого. А Федьку-то в это время уже жарили в ресторане. Я горевал шибко и ушел из животноводов: рассердился на председателя.

— И таких баранов больше не осталось?

— Нет. Недавно в газете печатали: где-то в Сибири вывели барана сто кило весом, но до нашего Федьки ему далеко.

Мы догнали Геннадия и Асю. На песчаной косе они расправляли бредень.

— Ну, ни пуха ни пера! — весело крикнул Макар. — В эту сторону забредайте, а выброд вон у тех кустов, там дно пологое и коряг нет.

Раздевшись до трусиков, я тоже полез в воду. Первый заброд был неуловист: в мотне сверкали чешуей несколько небольших окуней да красноперок.

— На уху все равно наловим, — уверял Геннадий.

Я сменил Асю у бредня, а она выбирала рыбу из мотни, когда мы выволакивали бредень на берег. С каждым забродом мы удалялись от Макара, который остался покурить около нашей одежды.

— Дальше не пройти, — сказал Геннадий. — Глубокий омут.

— В этом омуте Макар Петрович большого сома поймал? — спросил я.

— Что? — удивился Геннадий.

Я вкратце повторил рассказ старика.

— Никогда он этого не рассказывал, — ответил Геннадий. — Не было никакого сома, это он сейчас, дорогой придумал. — И он, смеясь, покачал головой. — Ну, батя!

На уху мы наловили и стали одеваться.

— Был бы нож, я бы вычистила рыбу и вымыла, чтобы дома не возиться, — сказала Ася.

— Нож есть, — я вынул складной охотничий нож.

— Покажите, — старик протянул руку. Рассмотрев нож со всех сторон и попробовав острие, отдал Асе. — Грузинской работы. С запором. Невелик, а кабана резать можно.

Ася спустилась к самой воде, стала чистить рыбу, а Геннадий срезал ветку тальника и отгонял от нее комаров.

Макар свернул из клочка газеты большую махорочную сигарку, и синий дым окутал его лицо.

— Был у меня нож вроде вашего. Немецкий, складной, с запором. Ручка из ножки дикой козы... с шерстью и копытцем. А по лезвию — гравировка, олень и елки.

— Не видал я у нас в продаже таких ножей, — заметил я.

— Так не купленный, трофейный, а правду сказать, так дареный. Немецкий офицер подарил. На фронте.

— Вы воевали?

— Да. Служил я на охране полевого аэродрома... Однажды воздушный бой разыгрался. Наши истребители немецкий бомбардировщик сшибли. Летчики на парашютах выпрыгнули. Я побежал к одному. Как он сел на землю недалеко от аэродрома, я на него автомат навел и кричу: «Руки вверх!» Не понимает. Тогда я ему по-немецки: «Хенде хох!» Он за пистолетом потянул руку, а я над самой головой ему очередь из автомата дал. Ну, присмирел. Я, значит, пистолет у него из кобуры взял, приказываю: «Иди! Топай!» Не понимает, а как по-немецки — не знаю. Толкнул его дулом автомата, пошел. Привожу к начальству, докладываю, что в плен взял немецкого офицера. Начальство мне благодарность выражает. А офицер нож мне протягивает и лопочет по-своему. Я на начальника, на майора, гляжу, как, мол, прикажете — брать или нет. Майор и говорит: «Бери, Шлыков. Это он тебе за то, что ты его не застрелил...» — Макар бросил окурок в реку, посмотрел, как он медленно поплыл, и, достав из кармана трубку, стал набивать ее табаком. — А что, запросто мог пристрелить. На фронте это — раз плюнуть, за это не ругают, а награды дают... Почему я не застрелил его, когда он за пистолетом потянулся?

Он долго молчал, так и не ответив на свой вопрос.

Солнце закатилось. Над нами вились с тонким писком комары, вонзали в тело острые жала.

— Вы скоро там? — нетерпеливо крикнул Макар сыну и снохе.

— Идем, — отозвался Геннадий.

Мы с Макаром поднялись и пошли в село.

— Сохранился у вас нож? — спросил я.

— Нет. Подарил... не помню уж кому. Я люблю дарить, мне ничего не жалко...

Ночевал я в своей машине. Проснувшись рано, услышал шаги по двору, подумал, что Макар вернулся с ночного дежурства. Вылез из машины в холодный воздух. Пахло росой и свежескошенной травой, лежавшей в куче у хлева. Дверь в хлев была открыта. Видна была корова, под которой на скамеечке сидела Дарья, дергала то за один сосок, то за другой. Молоко с легким цвирканьем струилось в подойницу.

Под навесом Макар снимал овчину с барана, подвешенного за ноги.

— С добрым утром, Макар Петрович!

— Здоровеньки будьте, — ответил он, не отрываясь от дела.

— Так рано, а вы уже работаете после ночного дежурства.

— Я травы накосил и перетаскал, барана зарезал.

— И выспались?

— Много мне надо? Часа два посплю, и хватит. Бывает, по четыре ночи подряд совсем не сплю и не хочу.

Разговаривая, он работал, и худые лопатки на сутулой спине, двигаясь, так выпирали, что, казалось, прорвут майку. Сняв овчину, он повесил ее в тени, распялив на прутиках, потом стал разделывать тушу.

Только он покончил с этим, из избы вышел Геннадий, заспанный, с взъерошенными волосами, потягиваясь, зевал и чесался.

— Как спалось? — спросил Макар сына.

— Хорошо. Спал бы еще, да мухи кусают, спать не дают, весь исчесался. И что ты, батя, не сделаешь сетки на окошки?

— Времени не хватает.

— Ну уж!

— Не нукай! — Макар посмотрел на сына с укоризной. — Перед страдой знаешь сколько я переделал? Бестарки колхозу чинил, в детском саду плотницкую работу исполнил, на току тоже...

— Значит, заработал.

— Никак нет. Колхоз мне платит за охрану телятника, за должность мою, а все другое я бесплатно для колхоза делаю.

— Ясно. Я сетки привезу, а рамки ты сделаешь и натянешь. В отпуск с Асей к вам приедем, так хоть поспать досыта.

— Ладно. А дачу когда увезешь?

— А она готова?

— Пойдем, покажу.

За сараем, у капустных грядок стояло сооружение, которое Макар называл дачей. В четыре столба с пазами были уложены ошкуренные колья, означающие стены, в одной из которых прорублены дверной проем и крохотное оконце.

— Это дача? — спросил Геннадий. — Ха-ха-ха! Дача-а! Ха-ха-ха! Это курятник. Повернуться негде.

— Ты не смейся! — строго произнес Макар. — Внутренний размер два на два метра. Вот так будут еще столбы и навес, значит, веранда. Высота два с половиной, как в городских домах. Ведь как в газетах пишут? Дачи в личных садах не для постоянного житья, а для укрытия в непогоду и для хранения садово-огородного инвентаря.

— Даже не из жердей, а из кольев, — ворчливо заметил Геннадий.

— Ну другого лесу нету. Это лесхоз прореживал лес и мне отпустил. Обмажешь глиной с обеих сторон, снаружи побелишь, изнутри обоями оклеишь. Главное на даче — воздух.

— А пол тоже из кольев.

— Ну и что? Сделан крепко, покроешь фанерой, покрасишь.

— Мне хотелось бы посolidнее.

— Значит, не берешь?

— Нет, не возьму.

Ответ Геннадия не понравился Макару, и он торопливо пошел прочь.

— Ну, вот, обиделся, — сказал Геннадий, ища у меня сочувствия. — Да-ча-а! Хм!..

За завтраком старик все хмурился. Отказался от водки, как его ни уговаривали.

Было воскресенье, и в селе во всем чувствовалось, что люди отдыхают. Несколько мотоциклов с нарядными парнями и девушками на багажниках укатили в ближайший городок Аткарск. Мальчишки и девчонки с криком носились на велосипедах. Из домов шел запах пирогов.

Геннадий с Асей ушли купаться, я шприцевал автомашину, а Дарья и Макар занялись своими делами — она у летней кухни, он что-то делал за сараем, у огорода.

К обеду вернулись с реки Геннадий с Асей, разомлевшие; солнце сделало их кожу малиновой.

На столе было тесно от блюд: суп из потрохов, салат овощной, огурцы малосольные, пирог с зеленым луком и яйцами, компот из вишни, свежая земляника, мед. Сначала ели закуски и суп. И опять Макар отказался выпить. Все понимали, что не улеглась в душе его обида на Геннадия из-за дачи. Старался, старался сделать сыну подарок и не угодил.

На крыльце кто-то затопал, потом зашаркал, вытирая ноги, и тотчас же в распахнутую дверь шагнул бригадир, пожилой, мужчина, низенький и тонкий, словно подросток, снял соломенную шляпу, поздоровался:

— Здоровы будете! Хлеб да соль!

— Здравствуй, Иван Сидорович! — ответил Макар. — Садись обедать.

— Спасибо, я уже заправился. Собрался в поля проехаться.

— Садись, чего там! — Дарья потащила гостя к столу, а Геннадий налил ему рюмку и стал укорять:

— Иван Сидорович! Как не стыдно — отказываться!

— Сыт я, понимаешь, Гена, сыт. Да и на мотоцикле я, нельзя выпивать-то.

— С одной рюмки ничего не будет, ты ее и не почувствуешь.

Бригадир выпил одну рюмку, от второй отказался, съел огурец.

Дарья принесла жаровню, открыла. По избе пошел запах жареной баранины, нашпигованной чесноком и обложенной румяной картошкой.

— Ну от этого-то не откажешься, — хозяйка показала на жаркое.

— Нет, нет, не хочу. Только что пообедал, курицу сегодня зарезал.

Огорченно покачав головой, Дарья стала отрезать куски мяса, раскладывать по тарелкам.

— Я ведь до вас с просьбой, — бригадир посматривал то на Макара, то на Дарью. Те внимательно ждали, что он скажет. — На правлении решили просить пенсионеров помочь в уборке хлеба. Кто что сможет, по своим силам. Кто в поле станет работать — тех будем на грузовике возить, чтобы дома могли чего сделать.

— Говори, чего от нас надо, — поторопил Макар.

— Дарью Михайловну я бы попросил в детский сад... покашеварить для ребятишек... месяц-полтора. Детский сад-то у нас, сами знаете, временный, на страду только.

— Это можно, — согласилась Дарья. — Это по силам, не то что дояркой, как двадцать годков проработала. Свою корову еле выдаиваю, силы в руках нет.

— Воспитательницы из учительниц будут. Тебе, тетя Даша, только сготовить. И рядом с домом, — старательно убеждал бригадир. — А Макара Петровича я хочу попро-

сидеть на конном дворе помочь. Ночью в телятнике, а днем с лошадьми. Ну, запрячь, телегу смазать, сбрую починить, если вдруг потребуется. А ездовыми будут мальчишки, воду в поле возить, солярку, мало ли чего понадобится. По рукам, Макар Петрович?

— По рукам!

— Спасибо! — Бригадир поднялся.

— Еще рюмку? — предложил Геннадий.

— И не уговаривай!.. В среду, пожалуй, начнем косить на Матренином бугре.

После ухода бригадира Макар взял его рюмку, протянул сыну:

— Налей! — и выпил один, ни с кем не чокаясь, уткнулся в тарелку с бараниной. — Вот правление нас уважает. Просит помочь... Бригадир спасибо сказал. Только от детей не дождешься благодарности... никак не угодишь им.

— Ну, поехал! — сказала Дарья, и Макар замолчал.

До конца обеда все молчали, а потом женщины стали убирать со стола, мы с Геннадием сели под навесом играть в шахматы. Макар куда-то уединился.

Не успели мы сделать по несколько ходов, как пришлось прервать игру. К дому подкатила «Волга», из нее неторопливо вылез председатель колхоза, одернул пиджак, снял и снова надел шляпу и только после этого степенно двинулся на нас.

Поздоровались.

— Макар Петрович дома? — спросил председатель.

— Дома, — ответил Геннадий. — Сейчас позову. Батя! — Не получив ответа, Геннадий пошел в избу и спустя немного времени вернулся. — Сейчас выйдет.

Жмурясь спросонок, Макар притворно прошаркал на крыльце ногами, как будто на них был тяжелый груз, рассеянно посмотрел на председателя, потом на небо и медленно спустился по ступенькам на травку.

— Разбудил я тебя? — спросил председатель.

Макар поморгал сузившимися глазами и стал ковырять дырку на чувяке.

— Смотри-ка, продырявилось. Десять лет назад сшил, думал, износу не будет, а проносилось: нет ничего вечного.

— Потом займешься изучением дырки, — сказал председатель.

— Латку поставлю, — размышлял Макар, — до осени хватит.

— Ты ночью что делал, Макар Петрович?

На жесткий голос председателя Макар поднял глаза.

— Телят стерег и утром пастуху сдал... все сто семь голов.

— И никуда не отлучался?

— Нет.

— Когда домой ушел?

— Часов при мне не было. Пастух погнал телят, а я — домой.

— Мимо дома Кузюткина Николая проходил?

Глаза Макара острыми белыми огоньками вонзились в председателя.

— Да не пытай меня, Яков Иванович, говори напрямик, чего тебе от меня надо?

— Трактор стоял у дома Кузюткина?

— Какой трактор?

— Универсал.

— Не заметил: может, стоял, а может, не стоял.

— Приехал Кузюткин с прицепом сена к коровнику, — рассказывал председатель, — оставил прицеп, а сам на тракторе домой поужинать.

Лицо Макара оживилось, огоньки в глазах запрыгали, то затухая, то загораясь, рот подрагивал в затаенной улыбке, он согнул рукой ухо, чтобы лучше слышать.

— Пока ужинал, — продолжал председатель с серьезной озабоченностью, — трактор угнали.

— И долго он ужинал? — спросил Макар.

— Говорит, с пол часа.

— А может, он у жены под боком спал? Может, выпил?

— Это Кузюткин отрицает.

— Вы приказывали, чтобы трактористы и шофера не держали машины у своих домов, а ставили на машинном дворе. Выходит, Кузюткин нарушил приказ?

— Нарушил, за это его накажем.

— Что за народ! Есть запрет, так не исполняют, дисциплины не признают, что, значит, хочу, то и делаю. Ну и ну!..

Председатель не дал разойтись Макару, осадил его:

— Ты мне нотации читаешь, Макар Петрович. Не надо! Значит, не видел трактора?

— А позвольте, Яков Иванович, спросить: почему вы дознаетесь у меня?

— Да ведь ты ночью дежуришь рядом с коровником, слышал шум трактора, домой шел мимо дома Кузюткина. Я всех, кого увижу, расспрашиваю.

— Где Кузюткин-то?

— Мечется по дорогам, а следов-то нет, дороги сухие, да и трактор не гусеничный, следы неприметные.

— Да-а, — Макар покачал головой. — Беда!

— Завтра работать, а трактора нет. Может, далеко угнан.

— Все может быть.

Председатель сел в машину и уехал, оставив облако пыли над дорогой. Мы с Геннадием сели за шахматы, а Макар покуривал трубку и чему-то смеялся беззвучно, время от времени покачивая головой.

Геннадий с женой уезжал засветло. Родители положили ему в машину полбарана, ведро яиц, бидон меду. Пока Геннадий укладывал все это, Макар суетливо топтался, давал советы, весело покрикивал на Дарью, напоминая еще о каких-то гостинцах.

— Когда Сергуньку-то привезешь?

— Да вот пробудет смену в пионерском лагере — и привезу. Через десять дней, — отвечал Геннадий.

— Я его на конюшне к лошадям с нашими ребятишками приноровлю, пускай поедит. А потом мы с ним шук багрить будем, ночью при факелах. Скажи ему.

— Скажу, — Геннадий чуть заметно улыбался. Должно быть, не верил насчет багрения шук.

Когда «Запорожец» укатил, Дарья и Макар долго стояли молча. Потом Макар сказал тихо, грустно, однако без жалобы:

— Вот растишь их растишь, а под старость только встречаешь да провожаешь.

— Такой уж закон жизни, — ответила Дарья...

Старики загрустили. Макар был задумчив, не рассказывал мне никаких историй, хмурился и шумно вздыхал.

Молча пили мы чай, когда опять завернул на мотоцикле бригадир, попросил у Макара бурав и, собравшись уходить, рассказал, что ночью пропал трактор.

— Такого у нас еще не бывало, без замков живем, не запираемся, ничего не пропадало, а тут трактор украли! — Дарья покачала головой.

— Слышали, — рассеянно произнес Макар. — Так и не нашли?

— Нашли... у реки в кустах запрятан так, что рядом пройдешь и не заметишь.

— Кто же это сделал? — спросила Дарья.

— Задержали двух парней, рыбачили недалеко от трактора.

— Какие парни? — Макар отодвинул недопитую чашку чая, вскочил со стула, замахал руками, засуетился.

— Городские, на мотоцикле приехали.

— Зачем же им трактор? — удивилась Дарья.

— Детали снять да продать, — тоном знатока ответил бригадир. — Ходовой товар, детали-то.

— И что же им будет? — допытывалась Дарья.

— По закону ответят. Милиция прибыла, допрашивает голубчиков... Ну, и Кузюткина потянут. Он перетрусил, почернел весь... Еще не знает, что трактор нашелся, носится по всем дорогам.

— Они не виноваты, — решительно заявил Макар и нервно передернулся всем телом. — Я угнал трактор. Я!

— Макар Петрович! — впротыжку, с насмешливым недоверием произнес бригадир и подмигнул мне. — Он у нас шутник и фантазер.

— Не веришь? А я докажу. — Макар взъершился, стал топтаться на месте, порываясь ринуться на бригадира. — Подумаешь, велика премудрость. Я больше сорока лет возле тракторов. И прицепщиком работал, и заправщиком. Да я этот трактор весь раскидать могу и опять собрать.

— Ну-у!.. — бригадир откровенно расхохотался и пошел прочь, а Макар кричал ему вдогонку: — Я вместо стрелка-радиста на бомбежку летал. Обратно летели, командира ранило, а я вместо его самолет посадил. Командир только говорил: «Руль на себя, руль от себя... нажми левую кнопку, нажми правую кнопку...» Если бы не я, так гробанулись бы. Мне бы года скинуть, так я бы в космонавты подался, следом за Гагариным.

Бригадир вскочил на фыркающий мотоцикл. Дарья смеялась, прикрыв рот фартуком. Я не знал, верить Макару или не верить. А он возбужденный наступал на меня, потрясая кулаками:

— Поехали в Лисичкино, в правление! Я им докажу! Я угнал трактор, а парни не виноватые.

Уже сидя в машине, он немного успокоился, но продолжал уверять меня:

— Понимаете, хотел проучить Кузюткина... не выполняет приказ председателя... Уговоры и угрозы от него отскакивают. И выговора не действуют. Вот я и решил: пусть Кузюткин пострадает, помучается... Самое большое наказание, когда человек сам себя наедине казнит... в сердце своем. — Недолго помолчав, Макар продолжал свои рассуждения: — Ну, видно, пересолил... А на тракторе могу запросто. Все думают: что Макар? Телячий сторож... А со мной за руку здоровались знаешь какие люди? О-го!

Фантазия опять увлекла его, он говорил и говорил, размахивая руками, и горящие глаза его ждали от меня чего-то. Может быть, удивления, восторга или поощряющей улыбки.

В глубине заволжских степей стоит село. На перекрестке двух улиц — площадь с маленьким садиком посередине, где никнут осыпаемые пылью и выюгами, одичавшие без ухода деревья и обглоданные козами кусты. По воскресеньям на площади шумит базар, а в будни пустынно и тихо.

На самом бойком месте, там, где оживленнее всего воскресное торжище, смотрит на площадь тремя окошками Дом колхозника. Это по вывеске. Но одни называют его усмешливо «Гранд-отель», другие ласково — «Люсин маячок».

В доме три комнаты для постояльцев: большая — для мужчин, поменьше — для женщин, и еще одна, самая благоустроенная — для необыкновенных особ, которых поселяют сюда только с разрешения самого высокого районного начальства. Есть еще комната-боковушка, переделанная из кладовки. В ней живет Люся.

Люся, очень молодая, цветущая броской и дикой красотой, заведует Домом колхозника. Так именуется ее должность. Но других должностей по штату не положено, и она делает все: убирает помещение, моет полы, топит печи, стирает белье, кипятит воду, получает с жильцов деньги и выполняет еще уйму всяких обязанностей.

Три года назад Люся была ученицей последнего, выпускного класса средней школы. Примерная девушка, которой учителя предсказывали с ее способностями заманчивую будущность, вдруг всех удивила неожиданной выходкой. На школьном вечере ее пригласил танцевать одноклассник Ленка Байкалов. «Потанцуем по старой дружбе», — сказал он. Люся, не говоря ни слова, раз-

махнулась и вlepила ему такую звонкую пощечину, что в зале начался переполох.

Потом ее поведение обсуждали на собрании старшеклассников, на педагогическом совете, допытывались, требовали ответить: за что оскорбила она товарища, за чем устроила скандал? «Спросите его», — кивала она в сторону Ленки Байкалова. А Ленка твердил одно и то же: «Не знаю за что, не понимаю...»

Сбавили Люсе поведение на четверку, и при каждом удобном случае все, кому хотелось, показывали на нее пальцем: она запятнала школу.

Ни оправдываться, ни объясняться Люся не хотела. Стала молчаливой, замкнутой, а училась по-прежнему хорошо, не давая повода для новых придирок.

Как-то в середине зимы Люсе велено было прийти после уроков к директору школы. Директором много лет была пожилая, седая женщина, слывшая в районе опытным педагогом. Она очень дорожила этой славой и ходила, высоко держа голову.

— Стань вот тут.

Люся стала на указанное место у стола, за которым сидела директор.

— Людмила Постникова!..

— Да, я слушаю вас. — Люся слегка поклонилась.

— Разговор будет между нами. Понятно?

— Да.

— Я узнала... Мне доложили... — Женщина покашляла, переложила с места на место папку на столе. — Недавно был медицинский осмотр... Врач ничего не сказал тебе?

— Нет, Татьяна Михайловна.

— У нее... у врача закралось подозрение, что ты... одним словом, желательно было бы пройти тебе специальное освидетельствование.

Люся вспыхнула, лицо покрылось красными пятнами, глаза смотрели на Татьяну Михайловну и ничего не видели.

— Никто не узнает, — вполголоса говорила директор. — Но это надо для твоей чести.

Люся откинула назад голову, тряхнула косой и, чуть-чуть прищурясь, посмотрела на женщину, которая годилась ей чуть ли не в бабушки.

— Позвольте мне самой заботиться о своей чести.

— А честь школы, Постникова?

— Вот это-то вас беспокоит больше всего...

— А как же иначе? Общественное должно стоять на первом месте.

— Слыхала. — Люся усмехнулась. — Вам по должности положено это говорить.

— Как ты разговариваешь со мной! Никакого почтения...

Что-то еще говорила Татьяна Михайловна, но Люся слушала рассеянно. Она смотрела, как все больше краснеет лицо женщины, как нервно вздрагивает верхняя губа ее с бородавкой, покрытой пучком волос, и как гневно смотрят на нее испуганные и властные глаза. «Она, наверно, от рождения такая... правильная», — подумала Люся и чуть не произнесла прозвище директора: «Аксиома».

— Ты не слушаешь меня! — закричала Татьяна Михайловна, и голова ее затряслась, как у старухи.

— Слушаю.

— Чего я говорю тебе?

— Истины, Татьяна Михайловна.

— То-то. А выводы для себя сделала?

— Какие же?

— О чести девушки.

— Я — не девушка.

— Что-о? — Татьяна Михайловна в ужасе обхватила руками голову. — Что ты сказала? Повтори! — Теперь она потрясала руками.

— Я — не девушка, — повторила Люся вызывающе.

— И ты смеешь еще улыбаться!.. Или издеваешься надо мной?

— Я говорю серьезно.

— Серьезно?.. — Татьяна Михайловна вдруг притихла, потом примирительно сказала: — Не верю. Просто ты обозлилась и наговорила тут всякого... Я направляю тебя в поликлинику.... ты сама заинтересована в этом. Честь девушки... честь моей школы.

— А если подтвердят мои слова?

— Что ты каркаешь!... Подтвердят, тогда на педсовете разговор будет.

— Вы можете сейчас на педсовете поставить.

— Как же это? На основании чего?

— С моих слов.

— Со слов? Без документа?

— А документа у вас не будет. Поняли?

— Пошла вон! — Татьяна Михайловна схватила дрожащей рукой графин с водой. — Постой!

Люся вернулась к столу, ждала, пока Татьяна Михайловна пила, стуча зубами о стакан.

— Ладно, Постникова! Довела ты меня до такого состояния... Не ожидала я от тебя. — Она внимательно оглядела ученицу, подумала и сказала: — Нервы с вами какие надо иметь. А?.. Даже у меня выдержки не хватило... Ну ладно, никуда я тебя посылать не буду. Иди!

Домой Люся шла медленно, разбитая, отупевшая. И все думала о директоре: «Трусиха «Аксиома». Побоялась настаивать на поликлинике: скандал может получиться. Только она ничего не знает, ничего...»

Мать встретила ее с тоской в глазах:

— Зачем тебя к директору-то?

— А ты откуда знаешь?

— От Аньки. Спрашиваю про тебя, а она говорит, к директору тебя вызвали. Ай опять чего выкинула? Опять набедокурила?

Поблекшие уже глаза матери бегали по лицу Люси, пронзали ее, пытали.

— Не беспокойся, мало ли зачем вызывают к директору.

— Ну, слава богу! — Мать повеселела, утерла ладонью сморщенный рот, подтянула концы платка под подбородком. — Не говорила с директором-то, может, вернут поведение-то на пятерку?.. Эка важность — парню по морде съездила. Кабы девке — другое дело. А парням иной раз приходится по носу давать.

— Мама! — взмолилась Люся. — Ты уж не раз это говорила.

— Ладно, не буду. Ну и дети пошли: родителям рот затыкают... Ешь, да в баню пойдем. Отец уж пошел, скоро вернется.

Баню топили по субботам. Люся любила субботу. Как ни в какой другой день, в бане они с матерью успевали обо всем наговориться, потом собирались всей семьей у самовара, не спеша пили чай, вечером сидели дольше обычного, а на другой день спали, пока спалось. Субботний вечер был облегчением от недельных дел, суеты, усталости.

В тот вечер Люся была неразговорчива, на вопросы матери отвечала нехотя.

— Что ты какая-то смурая? — спросила мать.

— Голова болит.

— Больно много читаешь. Все книги да книги... Никакая голова не выдержит. Попарься, хворь-то и пройдет.

На полке жарко — дышать трудно. Распаренный веник до зуда обжигает тело. Люся изо всей силы хлещет себя, ей хочется почувствовать боль самоистязания. В ушах начинает звенеть, сердце колотится чаще, удары его отдаются в боку... И вдруг подкатывает к груди, она ловит воздух широко раскрытым ртом и, вскрикнув, мешком сползает на приступок, потом на пол...

Сознание к ней вернулось скоро. Увидела близко лицо матери с мокрыми, отвислыми волосами, услышала далекий-далекий голос:

— Ну, вот и очнулась...

Люся собрала силы, села на лавку.

— Голова болит? — спросила мать.

— Нет.

— Вытошнило, вот голове и полегчало.

— Наверно, угорела.

— И то правда. Отец всегда безо времени трубу закрывает. Не первый раз угар устраивает.

Дома мать напустилась на отца:

— Уморил было Люську-то, напустил угару.

— Не выдумывай. Весь угар вытянуло. Я-то парился — не угорел.

— Ты — мужик, а она девка, — равнять нельзя. Заучилась она, голова слабая.

— Все уже прошло, мама.

Отец Люси, бухгалтер райпотребсоюза, человек аккуратный, всегда подтянутый и вежливый, пожал плечами, почесал мизинцем бритый подбородок и тихо повинился:

— Прости, Люся... значит, недоглядел.

— Ты не виноват, папа. У меня до бани болела голова.

— На-ко чай с малиновым вареньем, да и ложись, — сказала мать твердо, как команду подала.

Люся пила чай и чувствовала жалость к родителям. Отец совсем облысел и морщинистый стал, глаза воспаленные, усталые. Он часто приносит работу домой, по вечерам щелкает на счетах, пишет красивые цифры. Мать весь день в работе, и Люся удивляется: когда она спит?

Люся у них последняя, старшие дети выросли и разъехались.

За перегородкой, в своей комнатке улеглась Люся и здесь, в уютной свежей постели, почувствовала себя защищенной от всяких бед и моментально уснула.

Воскресное утро было туманным. Белесый плотный туман стоял неподвижно, закрывал все влажной зябкой завесой, сквозь которую не было видно ни неба, ни домов, ни тополя под окном. В этот печальный тревожный день, придавленный тяжелым туманом, странным показался Люсе скрип невидимых саней.

За перегородкой девять раз пробили с хрипом часы, и долго стояла тишина, скребущая по сердцу. Люся стояла перед зеркалом, разглядывая бледное лицо свое, взгляд, сосредоточенный на затаенной мысли. Храбрость, с какой она держалась с директором, прошла еще вчера, а теперь осталось в душе смятение и недовольство собой. В халате, с распущенными волосами, она вышла из своей комнаты в горницу. И здесь было сумрачно от тумана и на всем лежал желтоватый оттенок, а фикус в кадке был черный, будто обугленный.

На кухне трещали дрова в плите, под кастрюлями в конфорках играло красное пламя, световые зайчики прыгали по стенам и потолку, и туман не угнетал.

— Как голова? — спросила мать, орудуя кочергой в топке плиты.

— Не болит, — ответила Люся, чувствуя на себе пристальный взгляд отца из-за газеты.

— А вид у тебя... не того... — сказал он, сдвигая очки на лоб. — Утомленный вид.

— Это от тумана, папа. Все какое-то бело-желтое.

— Как топлёным молоком обито. — Мать разогнула спину, утерла фартуком потное лицо. — И ничуть не редет туман-то, навалился и стоит. Хоть бы ветерок подул.

— Дышать трудно. — Отец сделал глубокий вздох, под отвислой кожей перекатился кадык. — Так что ты, Люся, не ходи на улицу.

— Я и не собираюсь, заниматься буду, сочинение задано.

Умывалась она и причесывалась с обычной тщательностью, — хотела отвлечь от себя внимание родителей, ела без всякого удовольствия и сразу же после завтрака ушла к себе, закрылась.

На столе лежали книги и тетради; Люся потрогала их руками и почувствовала, что все это стало ненужным, чужим, почти враждебным. Чистая страница в тетради отталкивала своим желтоватым цветом — цветом холодного тумана. Написала заглавие: «За что мы любим Бережковского?» Когда в классе проходили этого писателя, учительница перечислила уйму достоинств его произведений. Люся прочитала их, и они не тронули ее, не увлекли.

В этот день рука не слушалась ее, не хотела водить пером. Люся уныло вздохнула, подумала: «Если бы по совести... я написала бы: не люблю этого писателя. Вот и все сочинение».

Ей стало весело от этой мысли, но, представив, какой шум поднялся бы в школе, она похолодела от страха и тихо прошептала:

— Трусиха я, трусиха.

Люся легла на кровать, закинула руки за голову, стала глядеть в туманное окно. Неосознанными осторожными движениями она погладила острые груди, живот, бедра, дремотно закрыла глаза... И вдруг куда-то ушло все — желтый туман, книги и тетради, приглушенный говор отца с матерью, и ожил во всех мельчайших подробностях разговор с директором школы, неожиданный и разящий. Будь это сегодня, Люся расплакалась бы и, наверно, рассказала бы нелюбимой «Аксиоме» все... все...

Теплые слезинки скатились из-под закрытых ресниц по вискам. Потом еще и еще... Она плакала тихо, спокойно и думала: какие разные бывают слезы. Тогда... там... под степным небом во ржи... они оба плакали: она и Ленька Байкалов. И сами не знали, почему плачут...

Зима была с частыми туманами и оттепелями, тянулась долго, тоскливо. Люсе казалось иногда, что вечно будет это серое небо, грязный, обсосанный влажным ветром снег и прижатые к земле серые домики с разноцветными ставнями.

Люся старательно занималась, помогала матери по дому и все думала, как она сразу же после выпускных экзаменов уедет куда-нибудь в такое место, где ее никто не знает.

Желание скрыться от людских глаз становилось все сильнее, но поступала она вопреки этому желанию: ходи-

ла в кино и на танцы в Дом культуры — неоттапливаемое мрачное помещение, где танцевали в шубах и шапках, громко шаркая калошами по грязному, замусоренному полу.

Однажды, танцуя, Люся почувствовала внутри что-то непривычное и поняла: теперь не до танцев... Страх охватил ее. Еще внимательнее стала она приглядываться к себе: заметно ли что другим? Подолгу простаивала перед зеркалом — не появляются ли приметные пятна на лице? Нет, лицо было по-прежнему чистым, свежим, только в глазах было новое выражение, тревожный и болезненный блеск.

Спустя неделю она сказала матери:

— У меня будет маленький.

Мать со стоном рухнула на пол, сморщенные губы ее шевелились, но вместо слов слышалось только мычание. Потом она дико вскрикнула:

— Убила!.. Убила! — и заплакала.

Люся помогла матери встать, усадила ее на стул и стояла в растерянности.

— И не постыдилась сказать матери. Позор-то какой!.. Люся молчала.

Мало-помалу мать стала утихать, всхлипывания ее были все реже, наконец она утерла концом головного платка глаза и спросила твердым голосом:

— Отцу-то сама скажешь или мне перепоручишь?

Люся подумала и ответила:

— Скажи ты.

— Боишься?

— Нет, просто тебе удобнее.

Отец повел себя странно. Он ничего не сказал Люсе, как будто ничего и не знал, только смотрел на нее, как на что-то незнакомое, непонятное. Да еще показалось ей, что он громче стучит костяшками на счетах.

Но однажды он пришел домой пьяный, сначала шумел, грозил выгнать дочь из дома, а потом расплакался и уснул в слезах. После этого не было дня, когда он не оскорбил бы Люсю. Он умел делать это тихоньким голосом, с подчеркнутой любезностью. Вдруг за обедом спросит: «Ну, как твой довесочек?» Люся вспыхнет, залется слезами, закроется в своей комнате. Любил отец завести при Люсе примерно такой разговор с матерью: «Как, мать, думаешь, хороших кровей Люськин крапивник?»

Каждый раз он придумывал что-нибудь новое и все позвительнее.

Пришло время, и о Люсе заговорили в школе и по всему поселку.

Опять ее вызвали к директору. Татьяна Михайловна расхаживала по кабинету тяжелой, как у солдата, походкой, и голос у нее был прокурорский:

— Ты мне тогда сказала правду. Это делает тебе честь. Но это говорит и о твоём бесстыдстве... Теперь понятно, почему ты ударила Байкалова. Он?

Люся молчала. Она чувствовала себя так, будто ее раздели донага и разглядывают.

— Что же ты молчишь! — возмутилась Татьяна Михайловна. — Будто каменная. Да, чего же хорошего было ждать от тебя.

На педагогический совет Люсю не вызвали. Отец сказал матери при ней, но так, как будто ее не было:

— Все районные организации занимаются этой историей. Из области комиссия приедет. Слава, пожалуй, на всю страну пойдет. Не шути!.. — Он захлебнулся частым смешком, затрясся, и в красных веках зло заблестели глаза.

Люсе запретили ходить в школу, но разрешили сдавать выпускные экзамены. Учителя давали ей на дом задания.

Учитель физики, немолодой уже человек, был к ней особенно внимателен.

— Ничего, Постникова, ничего!.. Держи хвост... извини, пожалуйста... держи нос морковкой... Не терзай себя. Ошибки должны учить не повторять их.

...Вскоре после экзаменов у нее родился сын. Едва она поправилась, как к ней пришел отец Ленки, агроном Сергей Иванович, красивый, седеющий мужчина, с лицом, продубленным ветром и солнцем. Смущенно говорил он с ней.

— Сын мой поступил подло. Но я не могу заставить его любить вас. Все это сложно очень. Я пришел просить вас отдать мне внука... Мы с женой будем любить его... Вам надо учиться. И в этом мы поможем вам.

Люся разгневалась.

Сергей Иванович снова заговорил:

— Я понимаю вас. Но не оскорбляйтесь. Надо думать о ребенке, его надо вырастить, воспитать. Он был бы не

у чужих... у дедушки и бабушки. И взять его вы смогли бы в любое время... Поверьте, за моей просьбой не кроется ничего плохого.

Люся ответила сдержанно:

— Никогда не говорите мне об этом. Прошу вас.

Осенью Ленька Байкалов, окончивший школу с золотой медалью, поступил в институт. Люся к этому времени работала в Доме колхозника.

Как-то, когда она домывала крыльцо, скрипнула калитка, и во двор вошел Ленька. Она разогнула спину и замерла с тряпкой в руке, с подоткнутой юбкой, обнажившей колени.

— Привет! — весело произнес Ленька. В мятой куртке, в брюках с металлическими заклепками на карманах, с растрепанной челкой на лбу, он выглядел по-мальчишески простодушно, неуверенно посматривал то в лицо Люсе, то на ее колени и почему-то глупо улыбался.

От неожиданности Люся ничего не поняла, потом у нее онемело в груди, она густо покраснела, выронила из руки тряпку и быстро опустила подол юбки.

— Зачем пришел?

— Шел мимо, увидел тебя.

— Ну и что? Шел бы дальше.

— Уезжаю я.

— Скатертью дорога.

— Да ты не сердись. Мы с тобой...

— Мы с тобой каждый сам по себе...

— Мы с тобой расстаемся как-то нехорошо.

— А ты как хотел бы? Обняться, поцеловаться?

— Хотя бы без ссоры... Я хотел тебе все объяснить.

— Не хочу! Уходи! Сейчас же уходи!

Ленька дернул плечами, лицо его сморщилось от презрительной ужимки.

— Ну что ж... с приветом!

Он помахал рукой и пошел к калитке. Люся смотрела ему в спину, и сердце ее ныло. Шатаясь, как пьяная, пошла она к себе в комнату, села у стола, уронив голову на руки, и так просидела долго, как неживая.

Смеркалось. С улицы доносило разбитые звуки — где-то гремели ведром, протарахтела телега, с грохотом промчался грузовик. И опять надолго стало тихо.

Рано утром Люся встает, растапливает титан, торопится приготовить завтрак сыну. Наспех ест сама и отводит сына в детский сад, а вернувшись, выгребает золу из печек. Печек две. Они широки и прожорливы. Люся ненавидит их, эти круглые, обложенные оцинкованным железом печи, потому что надо много таскать тяжелого смолянисто-блестящего угля, долго растапливать щепками и чурками. Зато, растопленные, они горят долго, и к вечеру от них пышет жаром. Жильцы довольны: «Молодец, хозяйка!»

Днем тихо. Обычно постояльцы, большей частью командированные, расходятся по делам. Самое время убираться. В женской комнате убирать легче: кровати заправлены, мусор собран в корзину, на столе чисто. А уж в мужской черт ногу сломит. Постели раскрыты и скомканы, под кроватями посуда из-под водки и пива, на столе объедки, на стульях пижамы и полотенца, а в полоскательной миске, на тарелке вокруг графина и в цветочных банках окурки.

Люся вздыхает: «И кто вас только выдумал, мужики!»

А в умывальной потоп...

В последнюю очередь Люся убирает свою боковушку. Тут у нее все сияет чистотой. Затем разжигает плиту в кубовой и готовит себе обед.

Глядь — и день прошел; пообедать да и за сыном пора идти.

В воскресенье хуже: постояльцы без дела, пьют, в карты режутся, «козла» забивают. Шум, гам, весь день угомону нет.

По воскресеньям иногда приходит Люсина мать проведать внука, погулять с ним около ворот. Тогда Люсе удастся сбегать ненадолго по своим делам.

Однажды мать с порога заговорила быстро, чуть не захлебываясь:

— Что я тебе скажу-то. Слышь!

Люся испугалась, но, увидев, что лицо матери сияет, успокоилась.

— Да говори скорее!

— Дедко-то наш собирается к тебе.

— Да ну! — удивилась Люся.

Отец редко встречался ей и вел себя как чужой: делая вид, что не замечает, обходил ее стороной, а то вдруг останавливал и спрашивал сердито: «Ну как, мыкаешь

нужду-то? То-то!» — поднимал перед ее лицом указательный палец и, помахав им из стороны в сторону, удалялся.

Мать сказала:

— Знаешь, я ведь тайком к тебе ходила. Ну, прошлогодь прознал он и спрашивает: как там внучек? Рассказала. Хмурился все, а потом долго не спрашивал. А севодни попросил привести Пашутку. Он его издаля-то видал, а так, чтобы потрогать... на руках подержать...

К вечеру старик сам привел внука. Сдержанный, все еще отчужденный, посидел, оглядывая жилье, нахмурил взлохмаченные брови, медленно, врасстяжку произнес:

— Ко-ну-ра!..

— Мне хватает, — ответила Люся.

— Хватит, когда другого нет.

Не стал долго сидеть отец, собрался уходить, провел рукой по голове внука как бы мимоходом, вскинул глаза на дочь.

— Живи, как живешь: безо лжи. Людским уважением дорожи... Пройди через то, что выпало тебе. Переможись.

Отец всегда любил давать наставления, слушать их было надоедливо и обидно. На этот раз Люся выслушала их с невысказанной благодарностью и, может быть, впервые поняла отца.

Жильцы в Доме колхозника бывают всякие. Есть спокойные, вежливые, серьезные. Эти почему-то торопятся поскорей покончить с делами и уехать. А есть любители быть в командировке по месяцу и больше. Люся никак не могла понять: что можно делать месяц в Терновке? Ни заводика, ни железной дороги. А как раз «долгие» командированные и были самыми беспокойными жильцами. Первые дни они еще куда-то ходили, а потом целыми часами лежали на кроватях, осыпая себя пеплом папирос, читали газеты; скучая, пробовали приставать к Люсе.

Начиналось по одному, неизвестно кем придуманному приему.

— Ух, какой бутуз! — говорил ребенку какой-нибудь жилец в сползающих на низ живота брюках, а сам глазами Люсю жадно сверлил со всех сторон. — Возьми конфетку. Что? Мама не разрешает? — И теперь уже обращался к Люсе, любусь ею в открытую: — Почему же не разрешаете?

Люся выдерживала горячий взгляд, отвечала сухо, но не грубо:

— Ребенок должен брать подарки только из рук матери.

— Так сделайте одолжение, возьмите от меня и дайте ему.

— Нет!

Это она произносит так, что настаивать на просьбе уже невозможно.

В другой раз при удобном случае начинается с разговора о муже: где он? в командировке? на военной службе?

— Не знаю.

— Разошлись? Не поладили?

— Не все ли вам равно? — говорит Люся, и на полных алых губах ее скользит насмешливая, всепонимающая улыбка.

— Не ради любопытства... Понять хочу... Молодая, красивая — и одна.

— Чего же особенного?

— Ну как же? Скучно в одиночестве... Вот скажу про себя. Все в поездках, в поездках. И не знаю — то ли я женат, то ли холост. Потому что все один и один... Тоскливо на душе... Семейная жизнь, по существу, умерла, не успев сложиться; с женой мы разные, чужие... Я глубоко несчастен...

Один заезжий инженер, сорока лет, человек очень деликатный, любил поговорить с Люсей.

— Не представляю, как бы я жил тут, в этой степной глуши. Ни культуры, ни друзей.

Слова эти были обидны Люсе, но она научилась быть вежливой с постояльцами и не стала возражать инженеру, а невольно кивнула в знак согласия с ним.

— Конечно, где тут найти вам друзей.

— Некуда пойти, не на что посмотреть. Как живут у вас тут? Работают и сидят дома. По воскресеньям пьют. Единственное развлечение — кино.

— Правда. Вы, конечно, не привыкли к такой жизни.

— Серó, — произнес Иван Мокеевич с ударением на последнем слог.

— Я понимаю, как вам трудно у нас.

— Вы вот меня понимаете, а другие... — Он махнул рукой. — Меня и жена не понимала.

— А сейчас вы не женаты?

Иван Мокеевич как будто ждал этого вопроса и ответил на него охотно:

— Был женат, но... не сложилась семья. И никто не виноват: ни я, ни она. Ну, не получилось. Не было ни ссор, ни сцен, ничего дикого... А решили разойтись. Разошлись по-хорошему, культурно. — Он вздохнул, чмокнул твердыми губами. — Бывает!

Был Иван Мокеевич крепок, строен, миловиден. По утрам тщательно брился, долго умывался, по пояс раздетый, холодной водой и все напевал какие-то песенки, смешившие Люсю. Ей запомнились, например, такие слова:

Ты ли меня, я ли тебя иссушила,
Ты ли меня, я ли тебя извела.
Ты ли меня, я ли тебя из кувшина,
Ты ли меня, я ли тебя из ведра.

«Чудаковатый, — решила про него Люся, — но, кажется, добрый».

По вечерам он отдыхал на постели, читал, иногда что-то писал, а перед сном выходил на прогулку.

При всяком удобном случае он заговаривал с Люсей. Мог говорить о чем угодно: о погоде, о каких-нибудь дамских чулках, о ценах на мясо и муку.

Случалось, оказывался он вдвоем с Люсей, тогда говорил о другом:

— Жизнь человека коротка. Так надо прожить ее если уж не прекрасно, то хотя бы с удобствами.

— С ванной, холодильником, с дачей, — чуть улыбаясь, сказала Люся.

— Со всем, что создала цивилизация. — Иван Мокеевич подержался за узел аккуратно завязанного галстука, потрогал уголки воротничка — не загнулись ли. — Мы ведь пишем в газетах: «Все для человека».

Застав как-то ее в кубовой за стиркой, Иван Мокеевич ударил себя руками по ляжкам:

— Людмила Васильевна! Как можно!

Обычно моложавое лицо Ивана Мокеевича было спокойным, как выутюженное, на нем не дрожали мускулы, не морщинилась кожа, а сейчас Люся увидела на нем складки и морщинки, поднятые кверху крутые надбровья.

— И вам не жаль своих рук? Будь я вашим мужем, не позволил бы вам стирать.

— Не потому ли от вас ушла жена? — с иронией спросила Люся.

— Ну нет! Я уж говорил: мы не подошли друг к другу.

Бывал Иван Мокеевич грустным. Не заговаривал с Люсей, сидел задумчивый или прохаживался вокруг стола, задевая ногами за кровати.

— А не сходить ли нам с вами в кино? — спросил он однажды и, наклонив голову, ждал ответа.

Она пожала плечами:

— Не знаю.

На другой день он сказал, что купил билеты на «Шляпу пана Анатоля».

— Сходим, Людмила Васильевна... Это комедия. Поляки еще не разучились смеяться.

— Не пойду, Иван Мокеевич.

— Что, не можете?

— Я этого не говорю. Я сказала: не пойду.

— Но... позвольте!.. Я предварительно спрашивал вас.

— И что я вам ответила?

— Вы ответили: «Не знаю». Но этим подали мне надежду. Женщины всегда неопределенны в своих ответах. — Иван Мокеевич улыбнулся, сверкнув белыми, красивыми зубами.

— Вы убедились, что это относится не ко всем женщинам?

— Да. И еще больше проникся... понимаете, проникся уважением к вам...

Уезжая из Терновки, он оставил Люсе свой служебный адрес.

— Знаете, чем черт не шутит — вдруг случится быть вам в городе. Приглашаю в гости.

А через две недели пришло Люсе от него письмо. «Я часто вспоминаю Вас, — писал он. — И мне не хватает Вас. Можете поверить этому?»

Она не ответила ему.

Месяца через три Иван Мокеевич опять приехал в Терновку.

— Вам не нравится у нас, а онять приехали, — сказала Люся.

— Мог бы сам не ехать, послать кого-нибудь. Но из-за вас прикатил.

- Шутите все, Иван Мокеевич.
— Как можно шутить!
Через день он сказал ей:
— Поедьте со мной? А? Будете жить в большом городе.
— Что я буду там делать?
— Будете моей женой. — Люся расхохоталась. Иван Мокеевич обиделся. — И вовсе не смешно. Я предлагаю вам выйти за меня замуж.
— Это вы серьезно?
— Вполне.
— Нет, невозможно.
— Я могу подождать.
— Бесполезно ждать. Этого никогда не будет.
— Но почему?
— Мне было бы с вами скучно. Скучнее, чем в Терновке.
Он не до конца понял ее и, уезжая, поцеловал ей руку.
— Я буду писать вам и надеяться.
— Не надо! Ничего не надо!

Ходил к Люсе лейтенант милиции, проверял документы проживающих. Высокий, щеголеватый, с военной выправкой. Блестя начищенными хромовыми сапогами и серебром погон, он проходил в боковушку, брал под козырек, потом снимал фуражку.

Люся доставала из тумбочки толстую книгу регистрации жильцов, стопку паспортов. Лейтенант проверял документы, внимательно, не спеша перевертывал страницы книги с волнисто-изогнутыми грязными углами. Возвратив книгу и паспорта, поднимал на Люсю добрые серые глаза.

— Никаких происшествий, инцидентов не было?

Два года тому назад лейтенант приехал в Терновку и с тех пор ходил в Дом колхозника и всякий раз задавал этот неизменный вопрос. И Люся отвечала неизменное:

— Нет.

— Приятно слышать.

Сказав так, лейтенант улыбался и странно смотрел в очень большие и очень глубокие Люсины глаза. По его глазам видела она, как он пьянеет от ее взгляда. Она отворачивалась. У него миловидная жена, с которой Люся

любит при встрече поговорить, двое детей. И ей неприятны улыбка и любезность лейтенанта.

— Ходить к вам, Люся, для меня самая приятная служебная обязанность. У вас я отдыхаю. И можете на меня положиться... мало ли что... помочь если в чем...

— Спасибо, но я ни в чем не нуждаюсь.

— Я в том смысле, что могут притеснять вас, обижать. — Лейтенант почему-то краснел и начинал торопясь прощаться, пожимая теплую шершавую руку Люси.

Иногда он засиживался дольше, чем требовало дело, и, когда выходил из боковушки и шагал через мужскую комнату, кое-кто из жильцов двусмысленно покашливал ему вслед.

Лейтенант казался Люсе всегда одинаковым и непонятным; было в нем, по ее мнению, что-то заученное, вышколенное.

Как-то ранней весной лейтенант пришел в гражданском костюме, не стал проверять паспорта, а сидел и стучал пальцами по столу. Лицо у него было очень суровое.

— Что с вами? — участливо спросила Люся, тронув его за плечо.

Он схватил ее руку, а сам смотрел ей в глаза.

— У вас беда?

— Да, — с хрипом ответил он и, выпустив ее руку, отвернулся. — Большая беда.

Люся отошла в конец комнаты, уселась, собираясь слушать лейтенанта. Он сидел, подогнув ноги под стул, опираясь локтями в колени, и в позе его не осталось ничего от строевой выправки, все тело было расслаблено, тяжело, неуклюже. Он молчал, и это молчание казалось Люсе странным. Вдруг он резко вскочил, лицо стало жестким, его передернула горестная гримаса.

— Глупо, конечно... Ну, я пойду. До свиданья, Людмила Васильевна.

Он шагнул к двери нетвердой, чужой походкой, остановился, как будто ударился о какое-то препятствие, постоял, склонив голову, вернулся на прежнее место у стола, сел.

«Выпил», — подумала Люся, но, встретив его взгляд, поняла, что лейтенант совершенно трезв.

— Что с вами, Виктор Петрович?

Втянув вздрагивающими ноздрями воздух, он разомкнул плотно сжатые губы.

— Слепая вы! — приглушенно вскричал он. — Слепая! И больше ничего. Не могу я без вас.

Люся обомлела. Почему-то ей стало страшно и стыдно.

— Оставьте меня.

— Сейчас уйду. Только сперва скажу все. Выслушайте меня.

Глаза его то блестели, как у больного, то заволакивались туманом, и он все взмахивал рукой в такт своим мыслям, но никак не мог собраться с духом. Наконец слова полились из него бурным kloкочущим потоком:

— Как увидел вас, понял — пропаду. Крепился, не давал себе воли. Не осилил себя.

— Замолчите! — крикнула Люся, но он не слушал ее и говорил свое, все учащенное и отрывистее:

— Как погляжу вам в глаза — и все. Веревки вей из меня, секи, кости ломай — не смогу противиться... На все из-за вас пойду.

— Вы ненормальный! — Люся гневно смотрела в обезумевшие глаза его.

— Да, я схожу с ума... Но я не могу без вас. Позовите — и на коленках приползу.

— А потом что?

— Потом хоть казнь приму.

— У вас жена, дети... стыдитесь!

— Жена, дети... стыд... Сейчас это не имеет никакого значения. Только — вы.

— Поймите наконец, что у меня-то к вам нет ничего... пусто.

— Пусто, пусто... Это неправда, — произнес он сквозь зубы и шагнул, протягивая к ней руку.

Она выбежала из комнаты...

Теперь проверяет документы старшина Дубасов, состарившийся на милицейской службе в Терновке. Случается, иногда приходит и лейтенант. Здороваясь, он теперь не берет под козырек и, покончив с делом, не задерживается.

— Никаких происшествий, инцидентов не было, Людмила Васильевна?

— Нет.

— Приятно слышать. Бывайте здоровы.

И уходит холодный, степенный.

Летом, когда еще не приехали уполномоченные по уборке и заготовке хлеба, в Доме колхозника было мало постояльцев. Половина коек часто пустовала.

В эти дни затишья появился парень с рюкзаком за спиной, с фотоаппаратом на животе и флягой на боку. Был он худ, подвижен, крепок, чуть конопат, со спокойным, но цепким взглядом голубых глаз под выгоревшими бровями. Гладко стриженная голова придавала всему облику его что-то мальчишеское.

«Наверно, из заключения, — с чувством страха подумала Люся. — Какой-нибудь досрочно-условно-освобожденный».

— Место найдется? — спросил парень.

— Вы по личному делу или как? — спросила Люся, все еще оглядывая парня.

Он рассмеялся как-то добро и откровенно.

— По личному делу или как?.. Хорошо сказано.

Люся недоумевала, а парень смеялся непонятно чему. Он долго еще не мог погасить улыбку, доставая паспорт и командировочное удостоверение.

— Студент! — с радостным удивлением произнесла Люся и тоже заулыбалась. К студентам она испытывала почтение. «Игорь Странников», — выводило перо в регистрационной книге. — Студенты к нам приезжают позднее, хлеб убирать.

— Я буду собирать материал для дипломной работы.

— Агроном?

— Филолог.

И опять Люся удивилась: филолог, дипломная работа и вдруг — Терновка. Она спросила:

— Что же будете делать?

— А вот услышу, как вы частушки поете, и запишу.

— Я не пою частушки.

— Тогда старух и стариков буду искать. Старинные песни меня интересуют. Еще сказки, пословицы, поговорки.

— А-а, — протянула Люся.

Игорь Странников оказался жильцом спокойным. Дня два куда-то уходил, а потом сказал Люсе, что уезжает в села на неделю.

— Вещи бы оставить, я налегке поеду — магнитофон да фотоаппарат возьму.

Люся заперла рюкзак в камеру хранения.

— И койку прошу сохранить, не выписывать меня.

— Хорошо.

Он уехал, и Люся не вспоминала о нем: мало ли перебивало людей, о всех помнить не приходится. Пользуясь сухой погодой, она проветрила на дворе матрасы, побелила в комнатах, прогладила одеяла, выстирала белье — все приготовила к наплыву жильцов, которых нахлынет в страду столько, что придется ставить кровати даже под навесом. Ей хотелось выкрасить окна и двери, но денег на краску не дали. Привезли горбыли на растопку угля к зиме. Люся подумала, подумала и решила починить крышу навеса. «От дождя жильцам спасение».

Знойная мгла стояла над селом. Воздух отяжелел и, казалось, был пропитан чем-то липким. Желтая пыль, поднятая грузовиком, висела над улицей и не могла осесть на землю.

Люся, сидя на крыше навеса, заделывала горбылями щели. Стук молотка по гвоздям отдавался в ушах. Кофточка прилипла к спине и стесняла движения. Люся скинула ее, осталась в одном лифчике да в старенькой юбчонке.

Мухи и оводы вились над ней, садились на потное тело, кусали. Она отгоняла их, чесалась от укусов, злилась. Рука с молотком намахалась до усталости, гвозди не шли в доску, гнулись.

— А, черт! — выругалась Люся и попала молотком по пальцу.

Стиснув зубы, она зажала разбитый палец здоровой рукой и закачалась, стоная и охая. На глаза ей попала кофточка, и она оторвала от нее широкую ленту, стала перевязывать рану. Было больно. И вдруг взяла ее обида на все на свете: на трудную работу свою, на жизнь, на начальство. «Им только выручка да выручка. А тут управляйся как знаешь». И до того ей стало горько, что она заплакала.

Слезы текли по пыльным щекам, она размазывала их кулаком, как ребенок.

Потом она стала слезать по приставной лестнице.

Ее окликнули:

— Добрый день, хозяйка!

Люся спрыгнула на землю, увидела Странникова, закрыла грудь руками и побежала домой.

Спустя четверть часа, умытая и одетая, вышла она в мужскую комнату, где студент сидел у своей койки.

— Можно занять ту же койку? — спросил он, вставая.

— Да, — сухо ответила Люся.

А студент не замечал ни смущения ее, ни холодности, говорил о другом:

— Рожь зацвела. Из Куликовки шел пешком. В поле тихо, на колосьях желтенькие сережки висят, медом пахнут. А на обочине вот эти ромашки.

На столе лежала охапка желто-белых цветов.

— Возьмите, — сказал студент.

Она ничего не ответила ему, а сердито подумала: «С цветочками подкатывается. Такой же, как другие...» Спросила хмуро:

— Вещи возьмете?

— Да, пожалуйста.

Выдав ему рюкзак из камеры хранения, принесла постельное белье, положила на кровать. «Сам застелет — не барин».

— Что у вас с рукой? — спросил Игорь Странников.

— Разбила.

— Как?

— Чинила крышу навеса.

— Кровь просочилась. Давайте забинтую.

Участливый тон Игоря опять рассердил Люсю.

— Спасибо, я сама.

У себя в комнате бинтовала палец. Услышала стук во дворе, выглянула в окно. Так и есть: на крыше студент приколачивает доски.

«Ну, не чудак ли! — Люся усмехнулась, потом подумала с досадой и горечью: — Все вы с сердоболья начинаете».

Починив крышу, Игорь долго умывался, потом куда-то ушел. Вернулся вечером. Люся сидела во дворе, у стола под тополем, держала на коленях сына.

— Остановись, мгновение! — воскликнул Игорь.

«Псих», — подумала Люся, разглядывая его.

— Зачем вы пошевелились? — сказал Игорь с легким упреком. — Было красиво... Сидите вы с ребенком на руках, смотрите куда-то в себя и чуть-чуть улыбаетесь. Так может улыбаться только мать.

Люся молчала. Ей хотелось, чтобы постоялец скорее ушел от нее.

— Чаю хотите? — спросила она.

— Нет.

Разговор не клеился. Игорь сказал что-то о жаре и ушел к себе.

Утром, когда Люся вышла из своей боковушки, студент уже сидел за столом и что-то писал. Он, казалось, не замечал Люсю, только кивнул ей головой, когда она поставила на стол чайник с кипятком.

Прошло три дня. Студент вставал рано, убирал постель, завтракал и садился за свои тетради. На Люсю он почти не смотрел, ни о чем не спрашивал, не донимал просьбами. Однажды он вынес на стол под тополь магнитофон, и над двором, над тесовыми крышами в зелено-ржавых накрапах поплыли старинные песни, незнакомые Люсе.

— Это вы и записывали? — спросила она.

— Да. Вот это напела на пленку восьмидесятилетняя женщина.

Глухой старушечий голос тягуче выводил:

Как была, была младшенька,
Не могла счастье держать.
Полюбила молодца,
Не могла любовь спознать.

Грустная песня. За ней другая — тоже грустная, и опять про любовь.

И вечер ленивый, тихий, грустный. Первые звезды, по-летнему тусклые, зажглись в прозрачном небе. Мальчик уснул на коленях у Люси, а ей не хотелось вставать, разгонять настроение покоя и печали.

С каждым днем Игорь все больше удивлял Люсю. Он делал такое, что ее обескураживало. Увидел как-то, что пропалывает она огород, и стал помогать, несмотря на ее протесты. В другой раз вызвался наколоть чурок для титана, поправил стол под топодем.

«Силу некуда девать», — подумала Люся.

Вскоре он снова поехал по селам, и Люся осталась одна. Только в субботу ночевали колхозники, приехавшие на базар, а потом опять стало безлюдно, тихо.

Вернувшись, студент прожил с неделю и уехал совсем.

С конца июля началась суматоха. Понаехали из областного города всякие уполномоченные: по надзору за уборкой урожая, за вывозкой зерна на элеваторы,

за тем, есть ли в полях медсестры и парикмахеры, доставляются ли газеты, работает ли радио... Приезжали и уезжали артисты с балалайками и баянами. От артистов Люся уставала больше всего: были они очень шумные, бесцеремонные и сверх меры требовательные.

Потише стало в октябре. Люся выкопала картошку, засолила огурцы и помидоры. Хоть и немного надо ей с сыном, а все-таки заготовить не мешает, да и свое вкуснее. «Огород — это хорошо, — вспомнила она слова Игоря. — Это значит — устойчивый быт».

Конечно, Игорь прав. Не думает же она никуда подаваться, будет зимовать надежно. Надо растить сына. Это самое первое. А там... что загадывать!..

Зима установилась рано. Все завалило снегом. Целую неделю гуляет по степи буран. Замело дороги — ни проехать ни пройти.

Постояльцев нет, и Люсе можно досыта выспаться...

Хорошо лежать в теплой постели под вой метели за стеной... Слышно ровное детское дыхание рядом. Сквозь мягкую мохнатую дремоту думается прозрачно. О сыне, о себе, о счастье быть в такую пургу в домашнем тепле... Пройдет и зима, а там опять будет вдоволь солнца, высокого неба, ветра, пахнущего плодородием... И двор покроется муравой, и будут они с сыном по вечерам пить чай под тополем. Опять будет шумно от постояльцев, и опять придет осень с унылыми дождями, а за ней глухая долгая зима. Неужели так все и будет неизменно? Неужели только и запомнится смена времен года и не придет ничего другого?..

А на дворе воет буран, наметает сугроб на крыльце.

Грузовик остановился возле конторы колхоза. Пассажиры горохом посыпались из кузова, торопливо совали водителю деньги.

Последним слезал Никон. Нашупав одной ногой колесо, а другой осторожно ступив на землю, он неторопясь вынул из внутреннего кармана пиджака кожаный денежник, выбрал из разглаженных и слежавшихся бумажек самую истрепанную рублевку, отдал водителю и пошел, откидывая в стороны пятки.

У знакомого дома Никон старательно вытер о топтун-траву ноги, нажал щеколду, отворил калитку и задумчиво постоял на пробитой в лужайке тропке, как бы собираясь с духом перед трудным делом, потом поднялся на крыльцо.

Войдя в дом, он прежде всего увидел зыбку под марлевым пологом и молодую женщину. Женщина дергала босой ногой за веревочную петлю, привязанную к зыбке, зыбка качалась на березовом очепе, тоскливо скрипевшем в железном кольце под матицей.

Никон тихонько кашлянул. Женщина раскрыла сонные глаза.

— Ой, я задремала.

— Здравствуй, Шура!

— А-а, Никон! Здравствуй! Проходи, чего в куту стоишь.

Никон прошел в передний угол, сел у стола, поставил на стул сумку.

Женщина выпростала ногу из веревочной петли, поправила марлевый полог над зыбкой, помахала рукой, отгоняя мух.

— Едва укачала. Не засыпает некошной, да и только. Офурится и ревет, не успеваю пеленки менять.

— В Родьку, значит: тот до двенадцати лет по ночам офуривался.

Шура будто не слышала этих слов.

Быстрыми, мимолетными взглядами она прощупывала Никона: зачем приехал?

— А у вас по-новому стало, — Никон кивнул на шкаф с зеркалом во всю дверцу, на диван, на буфет, набитый посудой.

— Давно не был ты у нас, вот и ново кажется. Да ты разболокайся.

Сняв пиджак, Никон прошелся по горнице, потрогал руками мебель, покачал головой: немалых денег стоит, — потом разглядывал Шуру.

Знал ее Никон с пеленок. Вспомнил, как лет пятнадцать тому назад, поймав девчонку на своей клубничной грядке, он заголил ее и напихал меж ног крапивы. Удивился тогда Никон: не закричала, не заплакала.

И вот Шурка, красивая и сильная баба, жена Родиона, брата Никона.

— Где Родька? — спросил Никон, гася озорноватость в глазах и отводя их от снохи.

— В поле. Досевают последки.

— Слышал, Родька-то в перваках ходит.

— А что же! Он все умеет, на любой машине.

— А ты как?

— Работаю.

— Че делаешь?

— Клубом заведу.

— Не пыльно. — Никон крякнул. — Снять замок с дверей, билеты на кино продать, потом запереть. Не переломишься на такой работешке.

— Не скажи. Клуб новый построили, дак надо поставить дело. Вот отпуск скоро у меня кончится и впрягусь. Мамка обещает попестовать внука.

— А ну-ка, покажь, кого смастерили.

Шура приподняла полог над зыбкой. Никон мельком глянул на младенца и отошел к дивану, попробовал рукой упругость пружин, сел.

— Слабак Родька, — выдохнул он, хмурия седые брови. — Слабак!

— Про чего ты?

— В твою породу мальчонка-то, не в нашу.

— Да разве сейчас разберешь, — с улыбкой возразила Шура. — Подрастет, тогда и обличье скажется.

— Я и сейчас вижу. Значит, злее ты мужа на это самое... вот твоя кровь и перебила нашу.

Шура покраснела.

Недолго и неловко помолчали.

Шура спросила:

— Как Татьяна-то?

— Живет, — нехотя сказал про жену Никон, потом добавил: — Чего ей сделается.

— А Вера?

— Верка не получилась у меня.

— Чего уж ты так-то!

— А как ишшо прикажешь про нее рассусоливать? А? Ну, ты послушай. Отец с матерью выучили на бухгалтера, техникум прошла. Работает в торговле, а это, значит, — всего в досталь. Себе в первую очередь всякий дефицит, потом, — друзьям. А друзья — им дефицит. Словом, рука руку моет, и обе чистые... Привезут в магазин, например, молоко. Это-то не дефицит, так они его сразу-то не продают, держат, пока сливки отстоятся, потом сверху скупают для своих служащих, а платят по цене молока. — Никон мотнул коротко стриженной головой. — Конечно, дело обычное: стоять в воде по... пупок, да не напиться... Ну, оделась, как кукла, разъелась, будто нетель яловая, гладкая, аж лоснится. За парнями бегать начала.

— Как так? — изумилась Шура и, широко раскрыв голубые глаза, торопила Никона с ответом: — Как за парнями бегают?

— А вот так! — Никон горько усмехнулся. — Рассказать, так не поверишь.

— Почему же — поверю.

— Совестно и рассказывать-то.

— Да я ведь не чужая, не побегу всем выкладывать. Просто интересно, — Шура просяще смотрела на Никона, и он стал рассказывать:

— Пришла пора девке замуж. Заохотилось, значит, бабой стать. И ну зарядила наша Верка на танцы ходить, на гулянки знакомства заводить. Одинова говорит, мол, к парню домой пойдет, с его родителями познакомиться. Мы с Татьяной так и ахнули. К парню домой дев-

ке идти! Спрашиваем, что за парень, кто таков и прочее. А она только и знает про него, что студент, на лето к родителям приехал. Три дня знакома-то с ним. Ну, мы взяли ее в шоры. Срамота, мол, это, ты же девка. А она свое: нынче, говорит, нет разницы, что парень, что девка. Я тут и сказал: вот облапошит тебя парень-то, тогда узнаешь, в чем у тебя с ним разница. А матери приказываю: «Готовь, Татьяна, зыбку, Верка в подоле приплод принесет». И ведь не обиделась, посмеивается и говорит: «У вас устаревшие понятия». Вот как!

— И ходила она к этому студенту? — не утерпела Шура, пока Никон, оборвав рассказ, утирал платком повлажневший лоб.

— Ходила, — тяжело выдавил он из груди. — Опозорила себя и нас.

— Ой! — воскликнула Шура, ожидая услышать самое страшное.

— Пришла она к этому парню домой одна. Родители его удивились. На-ко, пришла знакомиться ухажерка их сына. Знамо дело, косились на нее. Ну, сесть-то усадили ее, а привечать либо угощать и не думали. Верка тарыбары, мол, мы с Ленею друзья, сигарету в зубы, зажигалкой чирк и пустила дым вокруг себя. А в доме табачным дымом никогда не пахло, и студент-то некуряка. Ну, отец с матерью ушли в другую комнату, а Леня проводил Верку. На том их знакомство и кончилось. Вот так! Мы-то об этом от людей узнали. Песочили Верку, уж так песочили! Я до того обессилел, что побить ее не мог, а Татьяна слегла, неделю валялась.

— Я представляю, — сочувственно сказала Шура. — Хорошо еще, парень такой попался.

— Вот именно! — обрадованно подхватил Никон.

— Но ведь она замуж вышла, Вера-то?

— Верно, выходила. За хорошего человека, за учителя. Лучшего мужа поискать да не сыскать. Год прожили, ребенка произвели, потом начались у них нелады промеж собой.

— Из-за чего? — спросила Шура, заинтересовавшись откровенным рассказом деверя.

— Из-за Верки. Сама посуди. По часу ресницы красит, а ребенку бельишко не постирает. Один раз два часа сидела брови выщипывала, чтобы в ниточку остались. Я не стерпел и вмазал ей оплеуху. Че тут было!.. Обви-

новатила меня во всем: что и с мужем-то у нее кутерьма из-за меня, и денег-то я с них за прожиток много требую. Ушли к родителям мужа. А дочку у нас на попечение оставили. Через месяц Верка воротилась одна, говорит дочке: «Скажи бабушке, что я пришла». Мы с Татьяной на кухне сидели, все слышали. А девочка-несмышлениш прибежала к нам, кричит: «Мама, мама!..» Две недели прожила Вера у нас, потом к мужу подалась, а вскорости опять воротилась. Так и живет одна. Кому она теперь нужна! Соломенная вдова да еще с ребенком — это нехотальный товар.

Передохнув, Никон жалостливо воскликнул:

— И в кого она такая? Остальные дети, как дети, а она, Верка, — выродок. Я уж думаю: моя ли она дочь? Приставал к Татьяне: божится, мол, не грешила.

— Может, еще наладится у нее семейная-то жизнь, — сказала Шура таким тоном, что Никон почувствовал новоявленную защитницу своей дочери и окрысился:

— Все вы, нонешние бабы, вертихвостки. Юбки — выше колен, вывески — раскрашены... А на купалишше в городе, на Пижме че творится!.. Почитай, нагишками лежат, на солнышке выпуклости подрумянивают... одним словом, крымуют.

— Как это крымуют? — не поняла Шура.

— Ну, ведут себя, будто на крымском курорте, сало из себя вытапливают... и прочее все такое.

— А ты бывал в Крыму?

— В кино видал.

Шура взяла ведро.

— Принесу свежей воды да самовар налажу.

— Не надо самовар, — остановил ее Никон. — Почаевничаем ужо с Родькой.

— Дак он к вечеру вернется-то.

— Корову-то держите?

— А как же.

— Тогда угости меня молоком, да я схожу в Белоглазово, погляжу место, где мне пупок завязывали.

Молоко Никон пил стакан за стаканом.

— Хорошее, вкусное молочко у тутошних коров. Когда я пастушил в колхозе, вот попил! Приду на ферму, а бабы подносят мне крынку вечерошного удою, неснятого, жирного. Ухаживали за мной бабы-то. Че ж, почти один мужик на весь колхоз остался, на войну не взяли по здо-

ровью. Да-а... Выдуешь всю крынку и до обеда — сыт, ходишь, на скотину позыкиваешь... — Никон умолк, а с лица не сходила приятная улыбка. — Да, почитай, десять годов в Сретенском не был.

— Долго, — согласилась Шура. — И ведь не так уж далеко от города-то.

— Дела не было в Сретенском, вот и не навещивался.

— В гости можно... к нам.

— А вы-то с Родькой... бываете в городе, а ко мне не заглядываете. А? То-то!

— Да ведь в городе-то все дела, торопишься управиться и — домой, — стала оправдываться Шура.

— И мне некогда гостевать. Вот приехал отпомянуть покойников. Завтра день поминовения усопших. А то сроднички мои беспоминные лежат. Могилы-то, поди, затерялись? А?

— Да нет, на месте могилы-то, — сказала Шура, потом осторожно спросила: — А ты верующий?

— В бога не верю, икон не признаю, а обычаев русских придерживаюсь. — Никон заглянул в крынку на остатки молока. — Я уж допью.

— Пей, пей! У нас молока много, девать некуда.

Допив молоко, Никон нашарил в дорожной сумке водку, подал Шуре.

— На-ко, поставь в погреб, завтра понадобится. Ишшо вот рыба соленая. А я промнусь до возврату Родьки.

На улице Никон постоял, оглядел снаружи жилье брата. Помнил он, когда строили этот дом, как рубили «в обло» из сухих сосновых бревен, смолисто пахучих, звенящих под топорами, как конопатили, потом обшивали тесом. Давно это было. Где-то затерялся на далеком севере хозяин дома, маленький, тихий, но ухватистый мужичок, умело правивший своим хозяйством. Дом стал колхозным. Пожили в нем разные люди, потом поселили Родиона, когда он вернулся с военной службы.

«Хорошо строили, — думал Никон. — Сколь годов стоит, а не осел, не покосился».

Только и заметил, что узорная причелина оторвалась, обнажив концы стропильных слег, да пообломалось местами деревянное кружево подзора карниза.

«Это уж Родькин недогляд», — осудил Никон брата и пошел по селу, четко вглядываясь в старое и в новое.

Поприбавилось в Сретенском домов. И люди незнакомые встречались.

За селом, на мягкой, еще не усохшей и не перетертой в пыль дороге, пролилась на душу Никона светлая грусть. Ярko зеленевшая озимь ласкала глаза, чистое небо струило на землю потоки света, свежий ветер тихонько трогал придорожную траву, уже запестревшую бело-синим накрапом цветенья...

В сердце Никона что-то торкнулось и отозвалось тоскливой болью. А когда с увала увиделась роща, глаза заслезились, и впервые Никон понял: жизнь прошла. И стало жаль себя.

Вскоре дошел он до места, где когда-то было родное Белоглазово, бродил по ободворице, где раньше стоял еще дедом построенный дом — изба под одной связью с клетью, хлевом, конюшней и амбаром. Тут Никон родился и прожил почти полста лет. Всякое видел он, разное пережил, но резче всего отпечатались в памяти последние три года.

Когда Белоглазово перестало существовать — кто сам уехал в город, кто не своей волей перебрался в другое место, а некоторые переселились в Сретенское, где обосновалось правление и образовалась центральная усадьба колхоза, — один дом Никона остался от всей деревни. Летом Никон пас скотину, а зимой колхоз не нудил его работой.

Никон завел двух коров, сотню кур, свиней, овец. И вез на базар масло, яйца, мясо, копил деньги на переезд в город. Летом нравилась ему уединенная жизнь, а зимой было страшно. Дети часто ночевали в Сретенском, в школе, а дома — Никон да Татьяна. Бывало, задурит пурга на неделю, завоет, засвистит в голых березах, заскребется по стенам — носа высунуть на улицу нельзя; только и выходи из избы за нуждой и дать скотине корму да пойла.

Особенно жутко бывало по ночам. Все крепко запирали Никон, занавешивал окошки, выгонял из избы в холодный двор собаку, а ложась спать, клал поближе заряженное картечью ружье. Спал одним ухом, а другим слушал: не ломают ли грабители запоры... Утро встречал радостно, как возрожденный после тяжелой болезни.

Все это осталось позади. Скопив денег, Никон без

сожаления продал дом, купил в городе чужую, подержанную хоромину.

Живя в городе, почти не вспоминал ни детство, ни юность, ни зрелые годы, только страх, пережитый в одинокой избе, уходил из памяти медленно.

Сейчас, на родной ободворице, Никон жадно искал следы прошлого. И не находил. Все стало неузнаваемо, заросло мелкоколесьем и травой. Ни тропинок, что змеились к речке Якунчихе, к светлым глубоким омутам в зеленой каемке осоки и ежеголовника, ни укатанной дороги, что пересекала вдоль травянистую улицу. Не уцелело хотя бы полусгнившего прясла от изгородей, охранявших огороды от скотины. Не осталось никаких признаков былой жизни, будто всегда была тут только эта березовая роща, державно завладевшая тучной землей.

Раздвигая плечом кусты, Никон пробирался наугад к опушке рощи и нежданно зашел в цепкие заросли одичавшей малины. Ярko вспомнилось, как однажды отец, вернувшись с парового поля, сидел на приступках крыльца, разуваясь, выколачивал из лаптей землю. Подозвав сынишку, отец сказал: «Отведи-ка кобылу в хлев да сними с нее обротъ. Сумеешь?» Торжественно и боязливо вел в поводу лошадь Никашка, со страхом слыша, как копыта ступают чуть ли не на пятки ему, ощущал голой спиной теплое, пахучее дыхание. Поставив лошадь в конюшню, он вприпрыжку подбежал к отцу, готовый исполнить новое поручение. «Малину не обирали?.. — спросил отец. — Ну, тогда набери самой спелой». И мальчишка пошел в малинник, которым отец хвалился на всю деревню. Вечером, после ужина, хлебали холодное молоко с малиной из общей деревянной чашки. Потом отец ставил детей по очереди к дверной притолоке и зарубкой отмечал их рост. Выше всех был старший Никашка. Он гордился своим старшинством, и весь вечер его как бы приподымало над землей. А отец был так добр, что разворошил солому, закрывавшую посередине избы кучу размоченной ржи, превшей для солода. Зерна ржи набухли, переплелись ростками были горячи и сладки. Такую рожь называли «рощей», и ею лакомились ребята. Счастливый улегся Никашка спать во дворе, на телеге, на свеженакошенной траве, покрытой дерюгой, и весь пропитывался луговым запахом. В светлом небе играли позори, и долго не хотелось закрывать глаза... А на

другой день отец выпорол Никашку за нечаянно сломанный куст малины. Спустя полдня, когда наказанный и наревевшийся Никашка лежал на полатах, отец велел ему опуститься на пол и ласково спросил: «Ну, чего губы надул? На отца сердиться нельзя. Я поучил тебя за дело. Ты ведь не куст загубил, а работу мою. Меня, брат, покрепче учили... дедко твой да и другие. То-то!»

Никогда не таил в себе Никон обиду на отца. И сейчас в нем прозвучали отголоски того детского душевного состояния, и он прошептал с благоговением: «Спасибо, отче, за поучение! Ты выучил меня, а я вот не сумел...» — он с горечью подумал о дочери.

До вечера бродил Никон по полям и лугам. Каждому месту в поле было свое название: Кулиги, Сосняк, Карнаушиха, Долгий лог... Самое дальнее поле было залежью и называлось Янголихой. Там, помнилось, буйно разрастался вереск с лиловыми сладко-пряными ягодами, подпекалась на солнце нежно душистая земляника.

Никон увидел пустошь распаханной и почувствовал обиду за утрату чего-то дорогого, что жило в его душе с тех пор, как он помнил себя, и до этой самой последней минуты.

Вечер был прозрачен, и все казалось легким, сотканным из серой пряжи.

За столом сидели, не зажигая лампу. Шумел самовар, в который Шура подкидывала угольков.

Родион цедил равнодушные слова:

— Давно ты, брат, не заглядывал в родные места.

Между братьями не было родственной близости. Так случилось само собой, что у каждого пошла своя, разная жизнь, и они не рвались друг к другу, и теперь встретились без особой радости, но с любопытством. Наваясь руками на столешницу, Родион слушал брата, который аккуратно откусывал от черствой шаньги, старательно жевал, запивая чаем с молоком.

— Видишь ли, Родя, какое дело. Как я перебрался в город, так и сделался бесприходным человеком: ни службы, ни пенсии. А жить-то надо. Ну, стал по всякой разности тропки торить: где дров напилишь да наколешь, где погрузить-выгрузить наймешься, где забор поправит, кому валенки подшить. Так и получалось — все занято. А чуть посвободнее — беспутье начнется, трудов стоит добратся-то до вас... Нацеди-ко, Шура, ишшо чашку.

Пока Шура наливала чай, Никон следил за полными руками ее с длинными пальцами. «Ишь ты, в будень и с перстнем». Неодобрительный взгляд перевел на Родиона. Широкий, угловатый в плечах, Родион напоминал Никону отца. «Такой же кряж. И надбровницы такие же, карнизом над глазами. А глаза серые, материны».

— И ты тоже ведь не жалуешь меня своим гостеванием, — упрекнул брата Никон и подкашлянул со значением.

— Редко приходится бывать-то в вашем городе, — возразил Родион. — Райцентр у нас свой, а к вам — случайно, если в область едешь.

— Так-то оно так, — согласился Никон, улыбаясь какой-то потаенной мысли. Верхняя губа его раздвоилась, розовея над зубами мясистой складкой, но это не портило его лица, все еще приятного.

«У отца тоже была двойная губа», — отметил про себя Родион и спросил брата про то, как ему показались родные места.

— Чего ж говорить-то. Белоглазова нет, слизнуло его время.

— А Сретенское?

— Не то стало. Растет Сретенское. Клуб построили. Дома новые. Почту завели. Ну, там ишло чего-то. А с Ижом-то что сделали! А? — Никон сокрушенно покачал головой. — Какая река была! Глубокая, чистая. А теперь курица перейдет.

— Мельница в Шеболове была, плотина поднимала воду, — начал объяснять Родион, но Никон прервал его:

— А почему опять плотину не постройте? Почему? По всему Ижу стояли мельницы: в Пайгишеве, в Кугунуре, в Шеболове, в Кашнуре, в Яснуре... до самой Пижмы. Вот и был Иж полнехонек.

— Конечно, плотины можно бы сохранить, — сказал Родион, — но руки у колхозов не доходят.

— Ну, ладно, плотины каких-то денег стоят. А вот, могилы... в церковной ограде могилы были, с памятниками. Они-то кому помешали?

— Так в церкви же мастерская, ремонт машин, а кладбище в церковной ограде двором стало.

— Можно было двор рядом устроить, а могилы оставить в покое.

— Можно, конечно.

Молча выпили по чашке чаю, потом опять заплелся неторопливый разговор.

— Совсем отсеялись? — спросил Никон.

— Да, вчера ячмень досеяли.

— Ах, какой ячмень у нас был! Бессорный, длинноусый, зерно крупное. Какие яровушники из ячменной муки мамка пекла!

— Осталось лен посеять да картошку посадить, — продолжал сообщать Родион.

— Картошку мы сажали скоропоспелую, красную, — вспоминал Никон. — Отцветет, и через две недели подкапывай, ешь отварную со сметанкой.

Наелись братья, напились, вылезли из-за стола. Шура вымыла, убрала посуду, вынула из зыбки ребенка, стала кормить. Никон за один короткий взгляд оценил Шуру: «Такой титькой можно троих за раз кормить, хватит молока». И подобревшим голосом спросил Родиона:

— Ну, а ты как живешь, честно если говорить?

— Не жалуюсь. Сын вот. Машинами управляю.

— Машина-то машиной, а главное-то человек. Он — пуп всего.

— Ну так я человек на машине.

Никон усмехнулся.

— Ты правишь машинами, а тобой правят бригадир, председатель. Значит, живешь ты не своей волей. А я вот — сам по себе, мной никто не правит. А поддайся, так изволтузят, изнахратят, ухайдакают.

Родион молчал, позевывал, вскидывал брови: мели, мол, а я послушаю.

Шура уложила ребенка, постелила гостю на раскладном диване-кровати.

— Ой, как широко! — Никон раскинул руки. — Двоеспальная кровать. Зачем одному-то?

— Катайся, — шутливый тон Шуры развеселил Никона.

— А чего? Немогут не настигла ишшо меня. Пятьдесят семь годов мне, вдвое старше Родиона, а я, брат, ишшо жениться могу. Пра-а, — и Никон затрясся от рассыпчатого смеха.

— Ну, понесло — строго сказала Шура и нырнула под одеяло на кровать.

Слыхала Шура, что молодого Никона считали в деревне красавцем. Он и сейчас, по мнению Шуры, был

еще видным мужчиной, несмотря на седину и морщины. В молодости Никон лихо играл на двухрядке, был краснобаем и умел улещать девок. Говорят, и Татьяну он отбил у другого жениха. Всего этого Шура не могла помнить: тогда ее еще и на свете не было. Помнила Никона уже семейным мужиком. И крапиву его не забыла... Сейчас, вспомнив, только усмехнулась.

Девушкой уже была Шура и видела, как молодецки отплясывали на празднике Никон и Татьяна под говорливые переборы гармошки. Утицей плыла по избе Татьяна, потом вдруг притопывала каблуками и пела озорную частушку:

Гармонист, гармонист,
Положи меня на низ.
А я встану, погляжу,
Хорошо ли я лежу.

Никон вылетал на круг.

Дрыгай, дрыгай, потолок,
Дрыгай, потолочина!
Ты гуляй, гуляй, матаня,
Пока не колочена.

Говорили, будто свою Татьяну Никон иногда поколачивал, но этого никто не видал.

...Шура вздохнула: «Поди-ко, разберись в муже загодя...»

Родион лег на кровать, и она шепнула:

— Спать охота.

— Спокойной ночи!

Родион неслышно поцеловал ее в губы.

Рано утром братья пошли на кладбище. Солнце только что взошло, небо было чистое и высокое, в прозрачном воздухе голубели низины. Пахло росой и лопухами, разросшимися вдоль дороги.

Кладбище, когда-то обсаженное кругом по земляному валу березами и елками, густо заросло подлеском и травой.

— И не найдешь наших, — сказал Никон, продираясь сквозь заросли иван-чая, будыльника и шиповника.

Когда Родион привел к знакомым могилам, Никон снял кепку и некоторое время стоял молча, склонив голову, потом сел на заросший травой холмик.

— Садись, Родя. — Никон вынул из сумки бутылку, три стаканчика, закуску. В один стаканчик плеснул на донышко водки, накрыл ломтиком хлеба, на хлеб положил половинку крутого яйца, посолил. — Это деду и отцу. — В два стаканчика налил до краев, шумно вздохнул: — Помянем усопших.

Первый раз выпили в память деда.

— Ты ведь не помнишь дедку Михайла.

— Меня еще не было, когда он умер, — подтвердил Родион.

Никон стал рассказывать:

— А я помню. Борода белая, с прозеленью, руки как грабли. До смерти без падожка ходил, а ведь прожил девять десятков. Во-от! По четыре мешка-пятерика клали на него, с телеги в амбар таскал. Это, когда молодой был. На пашне умает одну лошадь, другую запряжет да и пашет, пока и та в борозду не ляжет. Помню его, помню... На гайтане он вместе с крестом ладанку носил. Говорил, бабушка привязала, когда на турецкую войну уходил. А на гашнике под холстяной рубахой кисет с табаком и трубкой. Ишшо кресало, кремь и трут... Четыре сына было, все женатые, а дед их не отделял, не хотел хозяйство дробить. Он, дедко-то, всю большую семью в руках держал. Перечить ему никто не смел ни в чем. Во-от! Как помер, так сыновья разделились, но уж достатка прежнего не было, беднее жили.

Выговорившись, Никон предложил помянуть бабушку, которую Родион тоже не помнил. И опять Никон вспоминал, какая добрая и ласковая была бабка Паша.

Родион молчал, тяготясь непривычной церемонией. Он считал своим долгом ухаживать за могилами, поправлять скромные памятники, но тризны не правил, и сейчас участвовал в ней против своей воли, только бы не обидеть старшего брата.

— Помянем добрым словом отца! — скомандовал Никон.

Выпили, неторопливо закусили.

— Отца я помню, — сказал Родион. — Правда, я еще маленьким был, первый год в школу ходил.

В памяти Родиона всплыл из забытья далекий скорбный вечер, и глаза защипало, будто посыпало солью.

— Отец хотел, чтобы я хорошо учился. Ну, я и старался.

— Последний ты был у тятки с мамкой, поскребыш, вот тебя и баловали.

— Где же баловали-то? — возразил Родион, слегка обижаясь.

Никон не слушал брата, пустился в воспоминания:

— Отца вся округа уважала. Почет оказывала. Потому, как всем помогал: кому советом, кому делом. Грамотный был, трудяга. Силой в деда, а ни разу ни с кем не подрался. Вот какого корня мы с тобой, Родион! Ты не помнишь, как сорокоуст по отцу был заказан. Сорок дней в церкви молитву по отцу творили. А на сороковины весь день народ к нам в дом валил. Теленка и двух баранов съели. Мать и мы, сыновья, ничего не жалели.

— Я помню, все помню, — горячо ответил Родион. — Я лежал в сенях на кровати под пологом и плакал: отец умер, а люди веселые, пьют, едят.

— Это ведь для того, чтобы семью покойника приободрить.

— Не знал я этого, обижался за отца.

— Ну, что ж, брат, — Никон заткнул бутылку, положил в карман стаканчики, из третьего стаканчика вылил водку на могилу. — А хлеб с яичком птички склюют. Пойдем к другому деду, к другой бабке, к мамкиным родителям. Найдем, где они? Я уж забыл.

— Найдем.

На могиле материных предков братья прикончили бутылку и направились домой.

На краю кладбища захмелевший Никон схватил Родиона за руку.

— Глянь! Березки-то!

Молодые березки с майским, неполным еще листом, блестящим сверху и матово бархатистым исподу, были легки, чисты и радостны.

— Как на иконе, — восторгался Никон. — Видел я такую икону. Подросток с уздой на руке стоит перед ангелом, что ли... в черной рясе ангел-то... и над головой сиянье... А березки на иконе точь-в-точь такие же вот.

— Березки хороши, — сказал Родион.

Сорвав березовый лист, Никон понюхал его, растер в пальцах и опять понюхал.

— Хорошо пахнет!

Братья пошли. Родион молчал, а Никону хотелось говорить.

— Чего-то все молчит Шурка?

— Слушает тебя. Когда надо, и она поговорить умеет.

— Значит, с деверем ей говорить не о чем. А?

— Ну, что ты придираешься к слову?

— Не люблю молчунов: у них на уме всегда что-то кроется. Смотри за ней.

Родион рассмеялся:

— Чего за ней смотреть-то! Восемь лет живем, пока все ладно.

— Восемь лет! — взвизгнул Никон. — И только первый ребенок.

— Не до того было: Шура в культпросветучилище занималась.

— И на тебя не похож сын-то. Не мог уж...

— Чудак ты, Никон!

— Не-ет, я, браток, не чудак.

Навстречу изредка попадались пожилые люди; шли они на кладбище торжественно, с узелками и сумками в руках. Некоторые спрашивали братьев:

— Уже отпомянули? Быстро что-то.

— Да вон, Родион торопится домой.

Родион молчал.

Никон не умолкал.

— Да-а, сподобился я побывать на родных могилах, на месте, где жизнь деды-отцы строили... Хотел похвалиться им... Достиг я... все у меня есть, всего вдоволь... А душа тоскует, чего-то хочет. А чего — не знаю, не пойму.

На глазах Никона вдруг выжались слезинки, верхняя губа вздернулась и задрожала.

— И Татьяна — жена хорошая, а иной раз перекусить ее хочется и выплюнуть.

Родион молчал: нечего было сказать, и жалоба брата не трогала его. Может, спяна жалости к себе захотелось.

— Ну, чего ты молчишь, Родька? — вскричал Никон. — Бесчутый ты человек.

— Что сказать тебе? Посочувствовать? Ты добился, чего хотел: собственный дом в городе, никому не подчинен, ни в чем не нуждаешься. Чего же хочешь?

— Не знаю.

— Ты стал другим человеком, Никон. Говоришь, независимым стал. От людей, может быть, независим, а

от своего нутра не уйдешь. С сердечника жизнь твоя соскочила, как телега на ухабе, и понесло тебя не туда.

— Больно умно говоришь и непонятно. Эх, Родька, Родька! Да я всю жизнь был в работе, как лошадь в хомуте. Откуда только безусталь бралась! Уёму на меня не было в работе. Зато чужой очавканный ломоть не едал. Вот! А ведь было время — на трудодни-то в колхозе ничего не давали. Ну, я и тогда не клал семью спать с пустым брюхом.

— Ты корни свои подрезал, а новые не отросли, не могут зацепиться за другую почву.

— А дети мои? Сыновья, дочь? Они к городу приросли. И я прирос. Врешь ты!

— Тогда я не знаю, отчего у тебя тоска.

— По-твоему, я хуже стал? А? Чего молчишь — говори!

— Я не сказал, что хуже... ты стал другой, чем я знал тебя.

— Ага, все ясно. — Никон умолк и зашагал быстрее, глядя себе под ноги, но не прошло и минуты, как обиженно стал выговаривать брату: — Ты скрытный, Родька. Не похвалишься брату. Чем-то наградили тебя, а ты молчишь. Занесся высоко.

— Не одного меня наградили, и хвалиться нечего, потому что теперь это дело обычное.

— Нехорошо, плохо, — проворчал Никон и на этот раз умолк надолго.

Дома братьев ждала Шура.

— Пирог стынет, а вас все нет, — Шура засуетилась, сдернула полотенце с пирога, стала пластать его ножом на куски. — Давайте к столу.

За обедом Никон был хмур. Не развеселила его и рюмка водки. Медленно жевал пирог с яйцами и зеленым луком, взгляд плутал по избе, ненадолго зацепляясь то за ухваты, торчавшие из подпечья, то за горшок с геранью на подоконнике, то за краснощекого ребенка в зыбке, запустившего в рот большой палец ноги.

— Выпей, Никон, еще, — Шура налила рюмку.

— А ты выпьешь со мной? По-родственному? — налитые тяжестью глаза Никона опрокинулись на Шуру.

— Я не пью спиртного.

— Не пьешь? И чего ты копыжисся?

— Нельзя мне: ребенка кормлю.

— Я все понял. — Никон положил на стол недоеденный кусок пирога, поднялся.

— Да что ты, право, — Родион опустил руки на плечи брату, стал давить: — Садись!

— Нет уж! Будя! — Страхнув с плеч руки брата, Никон вылез из-за стола, зашарил глазами по избе: — Где моя сумка?

Найдя сумку и кепку, открыл задом дверь, остановился в проеме, помедлив, поклонился:

— Бывайте здоровы!

Родион кинулся к брату, догнал его уже на крыльце, стал уговаривать вернуться:

— Извини нас, если мы чем обидели тебя. Вернись!

— Я уйду домой.

— Погостил бы, сколько захочешь, а я возьму колхозную автомашину, отвезу тебя. Сегодня и попутную машину трудно подловить: воскресенье.

— Прощай, брат! — Никон заморгал, захлюпал носом. — Я уж пешком.

Они шли селом, и Родион упрашивал Никона вернуться, простить ему обиду, а тот необыкновенно быстро шагал и мотал головой:

— Нет!

За селом, отчаявшись вернуть брата, Родион напоследок сказал:

— Не заставляй меня переживать! Чего ты со мной-то воюешь, ты сам с собой воюй.

— А ты пострадай, совесть свою помучай! — обрезал Никон и пошел, выворачивая ступни внутрь, и ни разу не оглянулся.

А Родион посмотрел ему вслед и понурый побрел домой.

Не меньше часа Никон шел быстро, точно нахлестанный, едва не срываясь на бег. В душе у него все клокотало, как кипяток в самоваре, и не мог он остудить себя. В сущности, у него не было обиды ни на Родиона, ни на Шуру. Причиной всему была тоска, о которой он говорил брату на кладбище. За обедом тоска дошла до такой степени, что ссора стала неминуемой с любимым, кто бы ни подвернулся в ту минуту под руку. Накопившаяся тоска злобой выплеснулась на брата.

Он шел, терзая себя одинокой жалостью к себе. Ему казалось, что никто не понимает его праведной жизни, не ценит трудов его, отданных семье. И почему-то родные и знакомые молчаливо осуждают его. А за что? Ведь он никому не сделал зла, ни на кого пальцем не показал с осуждением, ни в чью жизнь не вмешался. Никого не подвел под расплату даже за дело. Жил смирной овечкой и хотел такой жизни от других. Нет, нельзя упрекнуть его в злодействе.

Пот, мешаясь со слезами, туманил глаза. Полуденное солнце припекало, хотелось пить. Никон снял пиджак, расстегнул ворот рубахи, поубавил прыть, зашагал медленнее.

Его нагнал грузовик. Шофер притормозил,

— Садись подвезу. В город, что ли?

— Спасибо, сам дойду.

Грузовик укатил, а Никон ворчал про себя:

«Подвезешь, знамо дело. А сколько возьмешь? Рупь? А я полдороги уж прошел, за что платить? Кабы от самого Сретенского... Рупь — для меня деньги: я человек неприходный. Дойду, ноги не купленные, свои доморощенные».

Долго шел Никон, все больше чувствуя усталость, и думы из головы ушли, только раздражение не покидало его. Попадались на пути небольшие деревни, с домами, далеко стоявшими друг от друга. Знакомые деревни, поредевшие, малолюдные. Стучал в какое-нибудь окошко, просил пить и шел дальше.

В одной деревне старушка, расспросив, откуда и куда он идет, ахнула от удивления:

— Да что ты, милочка! Нонче пеши в такую даль не ходят, на машинах ездят.

К вечеру Никон устал и решил отдохнуть. Выкупавшись в речке, прилег в тени крушины, задрал ноги на травянистый бугорок. Под деревьями гулял свежий ветерок, обвеивал отдыхающее тело. Река жила тихо, покачивала осоку, над которой летали стрекозы.

После купания захотелось Никону поесть, и он с сожалением вспомнил, что не доел кусок пирога в гостях у брата. «Хорош пирог Шурка испекла, умеет». Память вернула ему запах и вкус подрумяненной пшеничной корочки и островатой луковой начинки. С этим ощущением вкуса во рту он и заснул.

Солнце стояло уже на закате, когда Никон проснулся. Опять выкупался и совсем повеселел. Идти было приятно. Старые березы на тракте чуть пошумливали, и в качающейся кружевной тени прохладно пахло травой. И Никону не хотелось ничего иного, как бесконечно идти вот так мимо берез и видеть по сторонам дороги засеянное хлебом поле... Ласточки ли сидят на телеграфных проводах, грачи ли деловито расхаживают по дороге, стебель ли травы хлестнул по ногам — все это умиляло Никона, и сердце его размягчалось, добрело. Зеленые поля притихли, густо-лиловые перелески вдали четко рисовались на фоне чистого звонкого неба, закатное солнце наливалось золотом.

Никон забыл про все на свете — про предков, про брата, про свой дом, он бездумно жил ощущением всего, что видели глаза, и душа его наполнилась светлым и нежным чувством.

Ему стало совсем легко. Тяжелая тоска, уже давно давившая его, рассеивалась.

Всякий раз, оказавшись в одиночестве среди природы, Никон чувствовал, как грусть его ослабевала, хотя и не пропадала до конца, обостряясь при малейшем раздражении даже пустяком. Сейчас все умиротворяло его. Над тихими полями медленно разливался синеватый вечерний свет.

Никон иногда останавливался и слушал тишину. Ухо улавливало тонкое попискивание, шелест, дыхание. Беспокойно шептала осина при дороге. Где-то далеко взлаивала собака, глухо шумел мотор, и это напоминало Никону, что он не один в мире, что есть люди, кроме него.

На ум пришла семья, и ему стало стыдно за то, что он груб с родными, что требует беспрекословного послушания во всем, что дочь Вера всегда при нем хмурится и избегает его, что в глазах жены испуг. Совестно было и вспомнить сегодняшнее раздражение на сноху и на брата.

В город Никон пришел в одиннадцатом часу ночи. На улицах встречались редкие прохожие. Дома не светились окнами: люди уже спали. Из городского сада доносило музыку.

Дом Никона глухо молчал. Он прошел в незапертую

калитку и рассердился: «Все распахнуто, заходи, кто хошь, бери, тащи». Постучал в кухонное окошко, и вскоре открылась дверь.

— Пошто без спросу пускаете!—закричал он, раздражаясь все больше.

В ответ услышал голос жены:

— Ой! Никон!

При свете строго смотрел он на жену, стоявшую посреди прихожки в одной исподней рубахе и чесавшей спину.

— Спала?

— Вздремнула.

— Весь дом настезь.

Татьяна молчала, потом, опомнившись, затрусила на кухню, загремела посудой, говорила виноватым тоном:

— Не ждали тебя сегодня.

— Вижу, что не ждали. Давай ноги мыть, устал.

— Да вот грею воду.

Минут через двадцать Никон в трусиках сидел на низенькой скамеечке, поставив ноги в таз с теплой водой. Татьяна, стоя на коленях, мыла тяжелые ступни мужа намыленной мочалкой. Никон тупо смотрел на обнаженные плечи жены, на отвисшие болтавшиеся под рубашкой груди, на седые волосы, подобранные на затылке спутанным комком, и хмурился.

И вдруг вспомнилась ему Татьяна веселой девушкой, певуньей, самой приметной во всей округе. Как добивался ее любви Никон, какие слова говорил! Теперь он и слов тех не знает, забыл, знает только, что слова были особенные, из самого сердца. Помнит он еще запах цветущей рябины, под которой первый раз поцеловал Таню; не забыть ему тех дней, когда, уже женатые, косили колхозные луга и спали в шалаше, сделанном из вянущей духмяной травы. Вздохнул: «Куда все девалось? И что осталось от той Тани?»

Теперь он редко целует ее, все больше ругает. А почему так? Кто виноват в этом? Что так изменило всю его жизнь? Может быть, прав Родион, говоря, что Никон стал не тот, каким был?

Ему стало жаль жену, жаль себя.

— Спасибо, Таня, — ласково сказал он, когда жена вымыла и насухо вытерла ему ноги и стала поливать на руки воду.

Удивленный взгляд жены смутил его, и он заискивающе сказал:

— Замоталась ты со мной.

— Да, ну уж...

— Олька спит?

— Отец забрал дня на два.

Никону захотелось подержать внучку на коленях.

— Соскучился я по Ольке.

Ужинать Никон сел в добродушном настроении. На столе лежали белый мягкий каравай, вареная колбаса, масло, печенье и сушки, с которыми Никон любил пить чай, разламывая их и кладя в стакан. Ел он с аппетитом, и добродушное настроение переходило в самодовольство. Хорошо иметь свой угол на земле, быть под крышей и есть свой, заработанный хлеб. Вот он, Никон, «бесприходный» человек может есть все покупное, все на свои деньги. Этим он гордился.

Он уже отужинал и собирался спать, когда в окно постучали. Спросил сердито:

— Кого несет в полночь?

— Вера это. В кино ходила, — ответила жена и пошла отпирать.

— Вера? — прошептал Никон и стал нервно прохаживаться по кухне. Поздний приход дочери не понравился ему, раздражал. Он слышал, как перешептывались на ходу дочь с матерью, и чувствовал горячий прилив крови к лицу и шее. «Таятся от меня».

Когда женщины вошли в кухню, он, не ответив на приветствие дочери, спросил:

— Чего вы шушукаетесь?

Женщины переглянулись.

— А-а! — взревел Никон. — Где была, полуночная бабочка, где порхала? — Он наступал на дочь, тяжелый и страшный.

— Я взрослый человек и сама знаю, где мне бывать, — выпалила Вера.

Такого ответа Никон не ожидал услышать от дочери даже во сне, а не то что наяву, поэтому на некоторое время он оторопел, потом процедил сквозь зубы:

— Ну, нашлаедалась, сука? — и ударил дочь наотмашь по лицу.

Вера покачнулась,хватила открытым ртом воздух, потом закрыла лицо руками и выбежала из дома. Татьяна

на мешком осела на стул и зарыдала, сотрясаясь всем телом.

Никон шагал взад-вперед, хорохорился, грозил жене: — Верку вытурил и тебя турну! Распустились. Она истопле дров не принесет, все отец с матерью должны. Воду ты таскаешь, а погляди на ее крыльца-то... на них не коромысло с ведрами, а бревна таскать.

Минут через двадцать Никон лежал на кровати. Не спалось. Гнев прошел, и он ждал возвращения дочери. В доме было тихо, и эта тишина давила на мозги. Мимо окон пробрели пьяные с путаной песней. Никон встал, вышел во двор, запер ворота и сени. «А то еще залезут архаровцы». Опять лежал с закрытыми глазами, думал: «В ресторан, что ли, начать ходить? Говорят, там тоску размыкать можно. Нет: денег прорву надо... А может, бабу молодую завести на последки жизни?»

Утром Никону стыдно было глядеть жене в глаза. А повиниться было бы еще стыднее. Молча пил чай. Про себя сожалел о вчерашней вспышке и никак не мог унять болевшую душу, жаждущую чего-то нового, непохожего на повседневность. Раздражения не было, была смертельная печаль.

После пяти стаканов чая недолго отдыхал, полеживая на диване, блуждал взглядом по комнате, останавливая беглое внимание на каждой вещи, и впервые заметил, как все постарело. Мебель была разношерстная, купленная в разное время то в магазине, то на барахолке. Еще не так давно вещи покоили Никона, от них исходила таинственная сила, порождая в хозяине сознание благополучия, незыблемости жизни. Теперь вид вещей не грел душу.

Легко вскочил он с дивана, крикнул жене:

— Собери-ка мне одежу! Буднишнюю.

Одевшись во все старое, но выстиранное и выглаженное, Никон вышел из дому, ничего не сказав жене. Бродил по малолюдным улицам с чувством неприкаянности, чужой всему на свете; потолкался на базаре, выпил бадейку деревенского молока, зашел в парикмахерскую постричься и побриться. Больше идти некуда, а день еще только начался. Куда девать себя?

С реки, из-за леса донесло гудок: пароход то ли при-

валивает к пристани, то ли отчаливает. Потянуло Никона на реку. Шел сначала лугами, потом лесом. Сосновый запах застоялся, загустел, возбуждал Никона, наполняя непонятным счастьем.

Пароход уже был далеко, когда Никон вышел на песчаную косу. В реке отражались берега с растрепанной хвойной шубой и неспешный паром с грузовиком, с подводой, с двумя черно-белыми коровами да кучкой людей, столпившихся у ограждения.

Ниже пристани приткнулся к берегу плот. Мужики в распоясанных рубашках, а некоторые голяком до пояса, выкатывали бревна из воды на берег. Работали молчком, сноровисто и быстро. Чуть поодаль от штабеля дымил костер под чумазым котлом. Некоторые из рабочих встречались Никону в городе, примелькались на улицах, но с ними он не был знаком. Подойдя поближе, Никон поздоровался, спросил:

— На дрова пойдут бревна-то?

— Нет, в дело строителям, — ответил лохматый, без кепки, мужик и осмотрел Никона с ног до головы. — А ты зачем спрашиваешь? Может, купить хочешь?

— Просто для интересу.

— Делать тебе, дядь, нечего, — шатаешься. Пенсионер, поди, так шел бы «козла» забивать.

— А чего ты такой сердитый?

— Я не сердитый, а так...

— Вам подмога не требуется?

— Подмога — нет, а работника на полную катушку надо, и не одного.

— Ты, видать, старшой, так нанимай меня.

— Старшой вон в будке, ступай к нему.

Спустя немного времени Никон ходил по связкам бревен, зыбившимся на воде, разрывал ломом проволоку обвязок, вышибал «замки», потом багром толкал освобожденные бревна к берегу. Он скоро приспособился к немудреной работе, вошел в общий азарт труда и во всю старался, чтобы не оконфузиться перед новыми знакомыми. А те пригляделись к нему и вскоре позвали на берег катать бревна.

Эта работа была не в пример тяжелее. К наклонно уложенным следам подтаскивали мокрое, с разлохмаченной корой, скользкое бревно и с криком: «Раз, два, взяли!» — катили по следам вверх, в штабель.

Через час работы от головы Никона валил пар. Настроение у него было спокойное, деловое. Упираясь руками в бревно, он вместе с другими кричал: «Раз, два, взяли!» — и выкладывал всю свою силу. Нравилось ему, что никто не спрашивал его, кто он такой и откуда взялся, никто не лез к нему в душу.

А в душе его светлело, и сам себе он казался добрее, чище, возвышеннее. И чем лучше думал он о себе, тем сильнее начинало беспокоить его сожаление о ссоре с родными. «Надо извиниться, — думал он, — попросить прощения».

Вечером Никон вернулся домой успокоенный. Татьяна подметала голиком крыльцо и посторонилась, пропуская мужа, а он игриво шлепнул ее.

— Да ты что, уж не выпил ли? — с показным осуждением произнесла жена, радуясь веселости мужа, а войдя следом за ним в дом, спросила:

— Где весь день не евши пропадал?

— Работал.

— Чего?

— Плот из воды разгружал с такими, как я, леваками. Еще дня на четыре работы.

— По твоим ли годам такая-то работа!

— Ничего, под силу ишшо.

Обедая, а потом отдыхая, Никон все думал, как ему попросить прощения у дочери за вчерашнее, попросить так, чтобы не унизиться и не дать ей в будущем верха над собой. Не придумав ничего, он решил пораньше лечь спать, чтобы утром не опоздать на работу. «Народ там ничего и работа простая, правда, тяжелая». Вспомнил, что надо взять рукавицы, и пошел искать их.

— Вон как руки ободрал без рукавиц-то, — показывал он свои ладони жене. — На-ко, старые голицы, зашей.

Татьяна принялась чинить брезентовые рукавицы, а Никон сидел напротив и рассказывал про то, где был с утра, что видел: про базар, про цены на продукты, про работу на реке. Мирный разговор умилял самого Никона, и он готов был покаяться перед женой в своей вине и обещать впредь только доброту и ласку. Он было заикнулся уже, но жена сказала:

— Приходил участковый.

— Чего ему надо?

— Велел тебе в милицию явиться.

— Это еще зачем? — чуть не заорал Никон. — Я сроду не бывал в милиции.

Вместе с возмущением им овладел испуг.

— Вера жалобу на тебя подала.

— Дочь? На отца?

Никон вскочил:

— Родная дочь!.. на меня!.. в милицию!.. Ведь я ради нее же... От дурного остеречь.

— Гляди, до суда не дошло бы, — робко высказала Татьяна страшившие ее мысли. — Сраму-то, сраму!..

— Ой! — вырвалось из груди Никона со стоном. — Уважила дочь.

Вдруг он утих и заплакал. Слезы текли по щекам, и он не утирал их, давая им волю. Такой обиды Никон еще не знал и почувствовал себя слабым, беззащитным.

— Я вот в Белоглазове побывал... По своим старым следам прошел... Всю жизнь прежнюю увидел... Сердце так и закровоточило от тоски-кручины.

— Поди, лучше показалась, чем была? — спросила Татьяна, и в голосе ее он уловил насмешку, но не рассердился, а пожаловался:

— Лучше ли, хуже ли, а была моя жизнь, моя. У-у, бесчутая, не понимаешь. Никто не понимает, и некому печаль мою выплакать.

И надолго замолчал.

— Сходил бы к Вере, поговорил бы, может, забрала бы жалобу обратно, — сказала Татьяна осторожным голосом. — Она у подруги, у Вали пока жить будет.

— Ты в своем уме?! — вскричал Никон. — Я пойду на поклон к Верке? Может, ишшо на коленях? А? Да я ее!..

Никон пошатнулся, вскинул сжатую в кулак руку, хотел что-то сказать еще и рухнул на пол...

Когда он пришел в себя, то понял, что с ним был обморок и что он лежит на диване, а около него сидит человек в белом халате и говорит Татьяне:

— Покой. Лежать. Завтра я приду. Вот рецепты на лекарства.

Ум Никона был ясен, и ему не хотелось верить, что он терял сознание.

— Доктор, что со мной?

— Сердце. Может быть, переволновались, может, перетрудились. Возраст-то... Надо полежать, попринимать лекарство.

Врач ушел, провожаемый Татьяной.

Никон ворчал:

— Ерунда! Какая там болезнь в пятьдесят-то семь лет. Вот выплюсь, а утром пойду на работу. Я не поддамся... Не-ет! Я еще поживу, я еще покажу себя!

Последние слова он произнес громко, на весь дом, и неизвестно кому погрозил кулаком.

Никто не слышал его, никто не отзывался, и в душу его медленно входила тишина.

Медовый месяц

1

У самого моря шумел базар.

Фрукты, овощи, травы, дары дикого леса, гор и моря. Все это пестрело яркими красками, изумляло разнообразием форм, дурманило пряными и острыми запахами.

Праздное племя курортников атаковало базар; щупало дыни и яблоки, осторожно прикидывало на ладони помидоры, приподымало виноградные гроздья, со всех сторон осматривало каждый персик, пробовало на вкус инжир, урюк, груши, орехи; выбирало длинные кривые огурцы, зеленый лук, похожий на осоку чеснок, травы, копченую барабульку и кефаль, красновато-перламутровые, с рогульками, раковины...

У мангалов, полных золотисто-жарких углей, пахло чачей, кислым чихирем, шашлыком и чадом от подгоревшего бараньего сала.

Гортанные голоса страстно бросали в толпу:

— Шашлык по-грузински!

— Шашлык по-абхазски!

Рядом с шашлычниками продавец сухого вина тоскливо взывал:

— Холодное кахетинское! Холодное кахетинское!

Визгливые женские голоса:

— Аджика, аджика! Острая, как кинжал, душистая, как роза.

— Адамов корень! Лечебный адамов корень!

В ларьке, распахнутом на все стороны, — молодой мужчина с узенькими усиками продавал дамское белье. Распялив на своей груди лифчик, он пронзал горячими глазами каждую женщину; голос у него медовый — сладкий и липкий:

— Прекрасное изделие, милая. Вам четвертый или пятый номер? Купите и будете с благодарностью вспоминать меня.

Батырев вдоволь налюбовался дикими красками базара, купил лиловых баклажан, румяных персиков, треугольных помидоров, зеленых яблок, воскового, с просвечивающими семечками винограда, палевых, с нежным пушком абрикосов, золотистых барабулек и отправился на пляж. Море было малахитовое, с белой пенистой полосой прибоя, набегавшей на хрустящую гальку. Выкупавшись, Батырев по утренней прохладе тенистых улиц вернулся в просторную комнату, нанятую в доме абхаза.

Позавтракав, он живописно разложил на столе овощи и фрукты: рассыпал абрикосы, повесил на край корзинки большую гроздь винограда, поставил початую бутылку красного вина и до половины налитый стакан. Довольный расположением и освещением предметов, уселся перед мольбертом писать натюрморт.

Работа увлекла Батырева. Давно не работалось с таким упоением. На холсте оживали плоды юга, обретая цвет; падавший на них теплый свет придавал им мягкую чеканность формы. Батырев радовался, что ему удастся жизнелюбиво передавать щедрые дары природы, воспевать их с живописным темпераментом. Не стыдно будет показать натюрморт на областной осенней выставке художников.

Когда день подходил к концу и освещение в комнате стало меняться, Батырев прекратил работу, пошел в кафе, съел шашлык, выпил бутылку пива.

Солнце скрылось за горами, и на пляж легла густая синяя тень, вода у берега стала прозрачно-голубой, с нежной прозеленью, а вдали плотно-лиловой, почти черной. Длинные волны с пенным заплеском катились с успокаивающим шумом.

Батырев нашел место на разноцветной гальке среди играющих в шахматы, жующих и пьющих, среди лежащих на деревянных топчанах, надувных матрасах и подстилках из поролона, среди шумно и весело болтающих под неумолчный звук транзисторных радиоприемников. Стараясь не смотреть ни на кого и не слушать, Батырев любовался морем. Пахнущие йодом и солью волны беспрестанно меняли окраску и были то пузырьчато легкими,

то тяжелыми, словно жидкое стекло. Волны вздыхали, разбивались о берег и, погрохотав камешками, с шипением откатывались назад.

Глядя на море, Батырев вспоминал иные места, иные волны и ту, по которой он сейчас скучал.

2

Он видел ее по утрам каждый день, кроме праздников. Иногда она шла впереди него, покачиваясь на крепких ногах, иногда он слышал стук ее каблуков позади себя. Но чаще всего они ехали в одном троллейбусе. Батырев выходил у Крытого рынка, а она уезжала дальше, в сторону Волги.

За год ее лицо стало знакомо Батыреву до последней черточки. Это было неброское лицо. Но в нем таилось что-то привлекательное. Большие серые глаза, опущенные длинными русыми ресницами, смотрели не по-девичьи твердо.

Случалось, они сидели в вагоне друг против друга, откровенно переглядываясь. Но заговорить Батырев не решался, считая это неприличным.

«Я не знаю тебя, и кажется, мы давно знакомы», — думал он, глядя ей в лицо.

В молчаливом взгляде девушки он угадывал ответ: «А я знаю, кто ты, но не знаю, каков ты...»

Весной Батырев окончил художественное училище и все лето до начала учебного года в школе, где он должен преподавать рисование, решил заниматься этюдами.

Он уже редко ездил на троллейбусе, а больше ходил пешком, и незнакомка совсем перестала ему встречаться.

...Однажды он увидел ее лихо промчавшуюся на мотоцикле — в голубом шлеме, в кожаной куртке, в золоченых сапогах. Батырев прошептал: «Современная амазонка» — и понял, что влюблен.

Как-то он зарисовывал в альбом старую церквушку, которую начали восстанавливать в прежнем облике. Церквушка в миниатюре напоминала храм Василия Блаженного. Девять куполов были непохожи один на другой: то чешуйчатая луковка, то витая чаша, то собранная из разноцветных лепестков маковка.

Сидя на складном стульчике в парке, под березой, Батырев видел через улицу всю церквушку и рабочих, лазивших по строительным лесам. Голубое сияние сварки озаряло рабочих, делая их легкими, бесплотными. Но вот сварщик прекратил работу, снял с головы шлем со щитком, и Батырев узнал в сварщике незнакомку. Девушка спустилась на землю, села на тес, стала поправлять высыпавшиеся из-под беретки волосы.

Желание познакомиться с девушкой сорвало Батырева с места.

— Добрый день!

Девушка метнула на него спокойный взгляд, потом улыбнулась:

— Здравствуйте!

Батыреву показалось, что она обрадовалась встрече.

— Вы, оказывается, сварщица, — сказал он, присаживаясь на чурбак напротив нее. — Вот не знал.

— А я знала, что вы художник: часто видела вас с этюдником.

Распахнув брезентовую куртку, она без стеснения поправила под блузкой плечики белья, выдохнула:

— Жарко!

— Работа у вас горячая, — посочувствовал Батырев. — Что вы варите?

— Да вон кресты. Когда-то их сняли, а теперь новые делаем. Архитекторы дали форму и размеры, установили по старым фотографиям. И название церкви откопали: «Утоли моя печали». Хорошее название.

Помолчав недолго, девушка простодушно рассказывала о себе:

— Тут я ненадолго, вообще-то на заводе работаю.

— На каком?

— На судоремонтном. Там работа сложная.

Не мог Батырев таить свою влюбленность, жадно разглядывал гладкую кожу девушки, коричневатую на лице и белую на шее, спелые губы, припеченные солнцем, серо-голубые глаза.

— Я должен написать ваш портрет, — выпалил Батырев и поклонился с молчаливым восторгом.

— Ну, что вы! — и рассыпчатый девичий смех прозвенел задорно. — Ни к чему это.

— Вы проситесь на холст. Весь ваш облик..., повелительницы огня... лихой мотоциклистки...

— Ну, ладно! — уступчиво сказала девушка и мужким размашистым жестом подтвердила свое согласие.

— Спасибо! Я буду ходить за вами по пятам, стану ловить ваши движения, зарисовывать... а потом решу, в какой позе вас написать.

Ее звали Рада.

— Отец привез мне имя из Югославии. В войну там был, — объяснила она.

— А меня родители называли в честь Есенина.

— Хорошие у нас с вами имена.

Целые дни Батырев проводил на судоремонтном заводе. Люди в брезентовых костюмах с лицами, закрытыми щитками, держали в руках сварочные пистолеты, соединенные со змеисто изогнутыми толстыми проводами. В трепетных ослепляющих вспышках сварщики выглядели фантастично, точно пришельцы из таинственного мира. Среди них Батырев безошибочно находил Раду.

Перед обедом он обычно приходил на сборочный плаз, смотрел, как судно обретает заданную форму, как оживают плавные линии изгибов бортов от носа к корме. Батыреву давно полюбились суда. Какого бы размера они ни были, маленькие катера, или флагманы, или черно-рабочие буксиры-толкачи и самоходные баржи, он находил их необыкновенно красивыми и дивился искусству конструкторов и строителей.

— Сережа! — кричала откуда-нибудь сверху из решетчатых лесов девушка. — Сейчас пойдем обедать.

— Я жду, — отвечал он, задрав голову и поднося ко рту сложенные рупором ладони.

В столовую они шли вместе, стояли в очереди у кассы, потом брали в раздаточной дюралевые миски со щами и поджаркой, а после обеда, выйдя на свежий воздух, девушка просила показать рисунки. Батырев листал перед ней альбом с карандашными набросками, вынимал из этюдника листы с акварелью.

— Чего-то все незаконченное, — равнодушно замечала Рада, чуть кривя губы.

— Это наброски, заготовки, — объяснял Батырев.

— А «Утоли моя печали» закончили?

— Нет. Вот когда церковь реставрируют и уберут леса, обязательно напишу масляными красками.

Рада задумчиво смотрела на листы ватмана, с рисунками деталей судна, с фигурками людей, с порталными кранами, и, узнав себя, морщила высокий лоб.

— А какой буду я на картине, Батырев?

Почему она зовет его по фамилии, как-то казенно, отчуждая себя от него? Батырев ответил коротко, не имея желания вдаваться в подробности:

— Напишу вас за работой.

— А лучше бы в платье.

— И в платье напишу.

Однажды он сказал ей очень требовательно:

— Поедем, Рада, в воскресенье на Волгу.

— А почему бы не поехать? Поедем, Батырев!

Поросший березами берег полого спускался к Волге. С одной стороны березняка лежало покато поле, шелестя колосившейся зеленоватой рожью, с другой — неглубокий овраг в тальниках, по дну которого журчал светлый ручей.

От берез, тихо качающих на ветру вислые зеленые ветви, колебалась на земле прохладная узорная тень. Река играла рябью, будто расплавленным золотом, сверкала слепящим отражением горячего солнца.

Батырев сидел в тени с этюдником, водил кистью по мокрой бумаге.

— Тьфу! — вдруг он схватил лист бумаги, скомкал и отшвырнул.

— На кого вы сердитесь, Батырев? — спросила Рада, не поворачивая головы. Она лежала на горячем песке спиной к Батыреву, прогнув талию и закинув руки за голову. На бедрах ее голубела полоска материи и такие же завязочки пониже лопаток.

Батырев сел с ней рядом.

— Сержусь на себя, Рада. Попробовал написать этюд, вода не получается.

— А я блаженствую. Какой тут воздух вкусный! Чем это пахнет?

— Рекой.

— А еще?

— Березовыми листьями.

— А еще?

— Еще пахнет солнцем.

— А еще? — улыбаясь и озорничая, допытывалась девушка. — Ну? Не знаете, Батырев?

— Не знаю.

— Еще пахнет плодородной землей. Это от ржаного поля.

Батырев шумно втянул ноздрями воздух.

— Верно! Так и несет паханой землей. У вас верхнее чутье.

— Что это значит? — серьезно спросила девушка и перевернулась с боку на спину.

— У охотничьих собак бывает разное чутье. Одни чуют, нюхая у самой земли, другие поверху, высоко подняв голову. Ну вот и говорят: верхнее чутье, нижнее чутье.

— Какое же больше ценится?

— Верхнее.

— Ого! Значит, я чего-то стою, хотя бы с точки зрения охотников.

Она потрянула головой, волосы струисто пролились на плечи, с плеч на песок, взгляд метнулся в небо, где плавал кругами ястреб.

И Батырев увидел широко раскрытые глаза девушки с черными зрачками, окруженными синей радужкой в темном ободке. Он с диким восторгом вскричал:

— Вижу себя в вашем глазу, как в зеркале! Чудесно! Прекрасно!

Прикинув к шее девушки, он прошептал:

— У вас красивые глаза, Рада.

Она промолчала.

— Вы нравитесь мне.

Она резко села, одним махом вскочила и побежала в березовую рощу, по-телячьи выкидывая в стороны ноги. Легкая игривая сила понесла Батырева следом за мелькавшей мимо берез девушкой. Сейчас Батырев жил радостным ощущением своего молодого тела, сознанием своего превосходства над всем видимым ему миром. Он был попросту счастлив, пьянел и дурел, не понимая, что с ним происходит, а лишь чувствуя, что день прекрасен и жить хорошо.

Березы лениво шевелили ветвями, и, казалось, все плыло, покачиваясь и прозрачно дымясь: белотелые, в черных родинках, стволы, мягкая трава, зеленая на солнце и синяя в тени, снежная россыпь ромашек. Качался

на бегу Батырев, и шершавые листья берез обмахивали его покрасневшее в веселом возбуждении лицо.

— Батыре-е-ев! Идите сюда-а-а!

Девичий голос раскатывался певуче, и Батыреву приятно было слушать, как медленно умирают звуки: «е-ев!.. а-а-а!»

Девушка стояла по грудь во ржи, перебирая руками колосья с отрастающей уже колючей остью. По ржи пробегала легкая рябь, накатывалась на обнаженное тело, щекотала кожу. Несмолкаемо выстукивали свою стрекочую песню кузнечики. Ползали божьи коровки в красных сарафанчиках с черными горошинками.

— До чего же хорошо тут, Сережа!

— Прекрасно! Сильная рука его прикоснулась к горячему девичьему плечу. — Вы не сгорите?

— Можно и сгореть. — В полураскрытых улыбающихся губах ее белели плотные блестящие зубы, уголки губ чуть заметно вздрагивали, быстрый веселый взгляд скользил по загорелому лицу Сергея с выпуклыми надбровьями, по горбатуму носу... — У вас, Батырев, девичий рот.

— Да ну?

— Правда... маленький рот.

Ему показалось странным, почему она сказала о его губах, и он безотчетно потянулся к ней, сам не зная зачем — то ли обнять, то ли просто прикоснуться, — а она увернулась.

— Пойдем купаться. — И пошла неторопливо, распевая:

— Утоли моя печали, утоли!

Сергей дурашливо пробасил:

— Утолю, утолю!

Вода освежала их тела, гасила недавние тревожно-волнующие ощущения. Рада наслаждалась купанием до самозабвения. Отплыв от берега, она легла на спину, раскинув в стороны руки, и не шевелилась, отдавшись реке. Течением медленно несло ее, то обдавая холодными струями, то нежа теплом. Лицо ее было обращено к небу, и в глаза лилась глубокая синева. Ни один звук не доходил до ее слуха. Было такое состояние, будто тело ее растворилось в воде, а вода соединилась с небом.

Но вот что-то холодное коснулось спины, она испуганно вздрогнула, перевернулась на живот. Водоросли

цеплялись за руки, и она поплыла на чистую воду, крикнула:

— Сережа!

Страх прошел, и приятно успокаивающим было приближение берега, на котором стоял, точно высеченный из камня, Батырев, мокро блестящий на солнце, с выкинутой навстречу плывущей девушке мускулистой рукой.

— Ра-да-а-а!

Высокий голос взмыл над рекой, звонко отдался в березовой роще и раздробился где-то искаженно и гулко.

Она выходила из воды медленно, вырастая из золотистой ряби. Линии тела рождались плавно, четко обрисовывая легкую округлость форм.

— Руку, Рада! — Батырев одним прыжком оказался рядом с ней, взял ее за руку, и они выбежали на берег, с детским восторгом взметая брызги.

В тени, на раскинутой по траве холстине была живописно разложена еда.

— Прошу к столу! — вслед за широким жестом Батырев подхватил девушку, поднял и бережно посадил на холстину. — Будем пировать.

К запасам художника девушка прибавила свои, и Батырев прищурился, оглядывая снесь.

— Неплохой натюрморт!

Обветривший хлеб, свежие хрустящие огурцы, сочные помидоры, вареные яйца — все было вкусно, а спелый арбуз, охлажденный в родниковом ручье, сладко таял во рту.

— Я хотел взять вина, да без вашего согласия не решился, — сказал Батырев.

— И хорошо сделали: у меня без вина голова кружится.

Им было дьявольски весело. Смех неудержимо взрывался без всякого повода, пустячные разговоры звучали значительно, и хотелось сделать друг другу что-то хорошее.

— Отдыхайте, а я схожу за родниковой водой, чай вскипачу, — сказал Батырев, постелив на траве плащ.

— Спасибо!

Когда он вернулся, девушка спала. Запрокинутое лицо ее было младенчески спокойно, на полураскрытых губах замерла улыбка, таящая блаженство отдыха и чувство беззащитности.

Батырев прошептал бунинские стихи:

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

С чувством нежной жалости к девушке, с сознанием ответственности за нее Батырев отошел и, стараясь не шуметь, разжег костер, повесил чайник, на цыпочках сходил к ручью за глиной и стал лепить спящую девушку. Ему приходилось рисовать обнаженных натурщиц, но в их позах всегда чувствовалась некоторая напряженность, подчинение тела воле и разуму. А сейчас воля девушки была отключена, и тело ее, удивившее Батырева совершенством линий, жило независимо, само по себе. Батырев мял в пальцах глину, придавая ей нужную форму, одухотворяя ее движением жизни. Он лепил, ломал сделанное и снова лепил. Ему не хватало осязания девичьего тела, а без этого глина не оживала. Если бы его пальцы прошли по изгибам бедер, по чуть выпуклому животу, по длинной шее, тогда он смог бы воспроизвести их в глине. Так думал Батырев.

Давно выкипел чайник, погас костер и солнце переместилось в поблеклом знойном небе, а Батырев все работал, не чувствуя ни жары, ни усталости. Наконец из кома глины выросли женская голова, плечи, грудь. «Она спит, — удовлетворенно думал он. — Не позирующая, а спящая».

Оставалось кое-что поправить, чтобы скульптура получила законченность, но девушка открыла глаза и резко вскочила на ноги.

— Ой, мне стыдно.

— Почему?

— Уснула. Можете подумать, что мне скучно с вами.

— Что вы! Я с удовольствием оберегал ваш сон и сделал скульптурный этюд.

Только сейчас она увидела в его руках маленькую скульптуру и склонилась над ней, щекоча лицо Батырева своими рассыпанными волосами.

— Это я?

— Да.

— Странно. — Внимательно разглядев свое изображение, Рада отодвинулась от Батырева и спросила: — Говорят, у художников развит культ женского тела?

— Это не так. Кюльта женского тела нет. Но все живое прекрасно, и художники передают красоту его на полотне, в мраморе, в дереве. Красиво и мужское тело. Вы видели «Лаокоон», или «Давида»? Очень красивы, например, кони. Недаром их ставили на общественных зданиях, на городских улицах. Живописцы любят писать рыб. Тут такое разнообразие форм и цвета!

— Да, красивого везде много. Еще много музыки вокруг нас... Вот послушайте!.. Шелестят березы... шуршат усатые колосья ржи... вода поплескивает у берега... кузнечики куют... пчелы бунчат... Все это — самородная музыка. — Рада зажмурила глаза, подставила лицо солнцу. — Сделайте так и услышите, как поет солнечный свет.

Батырев кивнул головой, завернул глиняную скульптуру в мокрый платок, положил в тени.

— Когда скульптура высохнет, я затонирую и подарю вам, Рада.

Девушка задумчиво повторила, отделяя слова:

— Подарю... вам... Рада...

Засмеялась и с разбегу бросилась в реку.

— Догоняйте, Сережа-а!

Накупавшись, они лежали на горячем песке.

Сергей спросил после долгих колебаний:

— Почему у вас ноги в синяках? И руки.

— С мотоцикла падала. Готовлюсь к женскому мотокроссу, трасса трудная, бывает, и упадешь. Синяки пройдут, зато натренируюсь.

— Охота вам?

— Очень охота.

...Солнце стояло над горой. Верх горы плавился, а теневая сторона лиловела, и река в тени коробилась тяжелыми волнами, поднятыми катером. На палубе, под парусиновым тентом сидели рядом Батырев и Рада. Свежий ветер хлопал оборками тента, шевелил ромашки на коленях девушки. В руках художника покоилась завернутая скульптура. Он думал о том, что минувший день дал ему радость. В сущности ничего не случилось, не было ничего такого... Но тут же он начинал спор с самим собой: «Нет, было, было!.. Шелестящие березы, шуршание ржи, золотая рябь реки, любимая девушка... Разве этого мало?..»

Рада смотрела на речной простор, на густеющие кра-

ски вечера, слушала шум воды за кормой, крик быстрокрылых чаек и мысленно обращалась к художнику: «Слышите, Батырев, самородную музыку?»

В следующую пятницу Батырев сказал Раде:

— А не поехать ли нам на Волгу на субботу и на воскресенье? На туристскую базу. А?

— Не могу: в воскресенье мотокросс.

Батырев был на женском мотокроссе, видел, как мотоциклистки в тугих куртках, в шлемах и больших защитных очках, закрывавших половину лица, бешено мчались на ревущих машинах то в гору, то под крутой уклон, иногда пролетая несколько метров по воздуху. Желтая пыль заволакивала все, и Батырев удивлялся, как машины не врежутся друг в дружку. Гонки ему не понравились, и он сказал об этом Раде:

— А я люблю. Скорость, сила, риск и борьба: кто кого обгонит.

Они встречались все чаще, а скоро Батырев стал бывать у Рады дома, познакомился с ее родителями.

Рада как-то рассказала про родителей:

— Предки мои крестьяне. Дед не захотел жить в колхозе, сбежал в город, и его безо всяких-яких наняли в дворники, дали клетушку в подвале. Прижился. А отец уж настоящим рабочим стал, сварщиком. И я — сварщица. Значит, рабочая династия. Это теперь модно, хвалить династии-то. А их — раз-два, и обчелся... Я после десятилетки стала работать. Теперь у меня уже трудовой стаж имеется. И заработок хороший.

Сергей Батырев тоже был из рабочих. Отец его, железнодорожный машинист с хорошим устойчивым заработком, хотел и сына сделать машинистом, но Сергей увлекся живописью. Знал он, что и талантливых людей могут преследовать одни неудачи — таковы капризы искусства, — но избрал путь художника.

...Им хватило двух месяцев знакомства для того, чтобы на третий — пожениться. На август пришелся отпуск у Рады, и решено было поехать на Черное море. Рада продала мотоцикл и с родительской помощью купила автомобиль.

Сергей не понимал, зачем ей обязательно нужен «Москвич».

— «Запорожец» первого выпуска можно купить дешево, — сказал он, на что Рада насмешливо выпятила пухлые губы.

— Эта консервная банка мне не нужна. Имеешь приличную машину, на тебя и взгляд другой... тебя замечают. То-то! Так что... утоли моя печали.

— Утолю, утолю. Делай, как знаешь. — И он поцеловал ей руку, пахнущую духами и бензином.

3

Убаюкивающий шум моря не рассеял грусть Батырева. Ему так не хватало Рады. Где она сейчас? И зачем он позволил ей уехать в Сухуми!

В тот день случилась первая размолвка его с женой. Как обычно, он стал после завтрака работать, а Рада тянула его на пляж.

— Сходи одна. Я хочу до обеда поработать, а перед вечером вместе покупаемся.

— Мы приехали отдыхать, а не работать. — Сухо и твердо обрезала Рада. — Тебе работа дороже меня.

— С чего ты взяла?

Ты не расстанешься с карандашом и альбомом даже на пляже. На прогулку в горы пошли, так и там зарисовывал.

— Я иначе не могу.

— Почему же я могу? Отработала смену и до следующего дня о работе забыла. Ну, для чего ты здесь-то, на отдыхе-то все рисуешь?

— Для души. Потребность. Понимаешь?

— Нет, не понимаю. Надо работать, чтобы в кармане шевелились рубли, которые можно пускать на потребности жизни... А ты — каторжник. И что ты за это будешь иметь?

— Какая же ты непонятливая! — с мягким укором в голосе произнес Сергей.

— Да уж где мне до тебя! — глотая слезы обиды, сказала Рада. — Я понимаю, что зря ехала сюда. Сидим на одном месте, как старики. Сколько можно было бы повидать!

— Что ты предлагаешь? — дружелюбно спросил Сергей, глядя в ее печальные глаза.

— Каждую неделю переезжать. Я не бывала в Суху-

ми, в Новом Афоне, на озере Рица... Надо жить, а не киснуть на одном месте. Будем стариками, насидимся.

— И жить торспится и чувствовать спешит, — продекламировал Сергей мимолетно, как бы самому себе.

— Жизнь-то коротка, можно и прозевать ее, — нравоучительно произнесла Рада и хлопнула за собой дверь.

Настроение Батырева совсем испортилось. Часа два он промучился за мольбертом и, жалея пропавший для работы день, пошел на пляж.

Рада дулась на него, и попытки его объясниться с нею не смягчили ее.

Примирила их ночь.

А утром они отправились на Рицу.

Живописная природа изумляла Батырева. Рада приросла к баранке, не отрывала глаз от асфальтовой дороги и лихо вписывала машину в крутые опасные повороты.

На Рице они провели весь день. Прокатились по озеру на катере, поели на веранде ресторана жареную форель, купили сувениров, которые Батырев ругал за безвкусицу.

— И зачем нам это барахло?

— Дарить знакомым. Пусть знают, что я побывала на модном озере Рица.

Дня два Рада спокойно наслаждалась купанием, загорала, объедалась фруктами и не мешала Сергею заниматься живописью. Но вот ей опять стало скучно.

— Махнем в Сухуми, Батырев.

Со дня женитьбы не называла она Сергея по фамилии, поэтому он очень удивился такому обращению и осторожно спросил:

— Надолго?

— День туда, день там, день обратно.

— Нет, я не хочу мотаться. Чем тут плохо тебе? Отдыхай, набирайся сил.

— Рекламные слова, Сережа. А сил мне пока хватает.

— Я хочу писать море, горы... Надо закончить начатое. Если оторвусь на три дня, все пропадет. Нельзя прерываться.

— Чудно! Да порисуй час, потом два часа погуляй, потом опять немного порисуй. Я когда рукодельничаю, так по полчаса и меньше... как время позволяет.

Батырев молча развел руками.

— Значит, не едешь? — спросила Рада.

— Нет.

— Поеду одна.

— Нет, не поедешь!

— Почему это я не поеду?

— Я не пущу.

— По какому праву?

— По праву мужа.

— Ну, это не прошлый век. И спрашивать не стану.

— Ехать одной... Мало ли что может случиться.

— Я ничего не боюсь.

— Если ты любишь меня, то не поедешь.

— Люблю. Но покорной любви теперь нет. И зачем сдерживать свои желания?

Эта ночь их не примирила.

Рада встала рано. Солнце еще не показалось из-за гор. В ущельях дымился белый туман.

Сергей прислушивался к тому, как Рада умывалась, выходила во двор, открывала автомашину, и ждал, что шаги ее приблизятся к нему и прозвучит свежий голос: «Утоли моя печали». Это означало, что надо ответить: «Утолю, утолю», — затем вскочить с постели, бежать на кухню, ставить чайник на примус.

Рада не подошла к нему. Сергей услышал заработавший мотор, потом шум выезжавшей со двора машины. Высунувшись в окно, он крикнул:

— Рада, стой!

Но было уже поздно: машина умчалась.

Шли пятые сутки после отъезда Рады.

Батырев беспокоился о ней и тосковал. На ум приходило всякое: авария, болезнь, хулиганы. Отчаянная решительность Рады могла обойтись слишком дорого. Он решил ждать до утра, а уж потом заявить в милицию.

С нетерпением ожидая следующий день, он рано лег спать и скоро уснул, но тотчас же и пробудился — и спать ему расхотелось. Мысли о Раде, то беспокойные и обидные, то нежно-заботливые, томили ум и сердце. И опять выплывали из памяти те часы, минуты, мгновения, когда он был счастлив.

До женитьбы ему нравилась в ней отчаянность. Она увлекалась мотоциклом, знала толк в автомашинах. Вращаясь в среде автомотолюбителей, она им казалась

полупарнем. И когда стали постоянно видеть ее с Батыревым, удивились: «Рада-то любовь закрутила». И ему было приятно сознавать, что юную любовь свою она отдала ему.

Весна была ранняя, дружная. Отцветали черемуха, рябина, сирень, в лесу стоял запах ландышей. Вечера тлели тихие, и мысли у влюбленного Сергея роились прозрачные и легкие. Все было еще не изжито, не отжито, все казалось нужным, дорогим и прекрасным... Быстро прошел июнь, солнечный, с теплыми дождями, наступили жаркие июльские дни.

Влюбленные сказали своим родителям, что хотят пожениться.

Отец Сергея покашлял в кулак:

— Рано. Ты хотел в Академию художеств поступать.

— И поступлю.

Мать запричитала:

— И какой из тебя муж в двадцать-то три года! Сам еще не оперился, а жену берешь.

— Молчи мать, — со вздохом сказал отец. — Нынешняя молодежь рано женится, а потом эти скороспелые браки...

Родители Рады тоже говорили, что жених незрел, а дочь их не переросток. Будущий тесть, дослужившийся в войну до звания старшины, держался с важностью по крайней мере полковника и с военной точностью ставил Сергею вопросы, часто мигая воспаленными глазами:

— На что вы будете жить?

— Будем работать.

— Это понятно. Я спрашиваю, на что будете жить? — и сварщик посучил указательным и большим пальцами.

— Я кроме школы стану работать в худфонде.

— Гм-гм, — будущий тесть задумчиво покрякал.

Паузой воспользовалась мать Рады, невысокая, с румяными щеками и большим животом:

— Мы люди простые... дочь у нас сбереженная, не какая-нибудь вертихвостка... Боязно отдавать-то не знай за кого.

Все выслушал Сергей и ушел с надеждой на самое лучшее. Не слышал он продолжения разговора в доме любимой.

— Откажи ему, дочка, — посоветовал отец. — Он и себя-то не прокормит, а туда же — жениться.

— Я люблю его.

— Ну, какой он глава семьи! Учитель рисования. Поди, восемьдесят целковых в месяц, а ты за двести перешагиваешь.

— Главой семьи буду я. Его я сделаю хорошим, сговорчивым мужем. Но самое главное — мы любим друг друга.

Спустя день отец Рады спросил у Сергея:

— А где вы жить будете?

— Мы еще не думали об этом.

— Вижу, что не думали.

Рада заявила:

— Наш завод строит дом. Я могу рассчитывать на квартиру.

— Это будет через год.

— А пока можно у нас, — сказал Сергей. — Две комнаты, одну родители согласны отдать нам.

— Нет! — решительно возразила Рада. — Хочу самостоятельности. И у своих родителей не буду жить. А то будут вмешиваться. Мы устроим нашу жизнь по-своему, по-новому.

Перед свадьбой родители молодых договорились снять «частную» квартиру за свой счет. Нашли женщину, готовую сдать комнату. Рада отказалась:

— Хозяйка хоть и одна, но будет нам мешать.

— Ну, чем же мешать? — удивился Сергей. — У нее своя комната, весь день она на работе, мы тоже только вечером дома будем.

— Вот вечером-то и будет мешать. У одной плиты с ней быть, в одной ванной мыться... Нет, нет!

Нашлась другая квартира.

— Это — мечта! — захлебывался отец Рады. — Три комнаты, все удобства, телефон. Хозяйка — старушка, старший сын у нее с женой уехал на три года на Камчатку. Живет старушка у младшего сына, а в квартиру приходит раз в день проверить, целы ли запоры. Будете жить, так она раз в неделю навещается.

— Папа, я уже сказала тебе свое мнение. Квартира, может быть, и хорошая, но ведь это на Третьей Дачной — далеко.

Справляли свадьбу в ресторане по настоянию родителей Рады («Что мы, хуже других?»), гостей было созовано больше сотни, и отец Батырева кряхтел, выкла-

дывая свою долю расходов. Сергею не по душе были и эта показная пышность, и многолюдие, но особенно не нравились такси, обвешанные надувными шарами, разноцветными лентами и беловолосая кукла на радиоаторе машины новобрачных. «Все эти украшения — мещанская безвкусица, папуасские штучки», — сказал он, на что Рада возразила: «Так принято. Пусть все видят: свадьба едет». Сергей смирился, но с трудом перенес всю свадебную процедуру.

Неделю после свадьбы прожили молодожены у Батырева, потом неделю у Рады и уехали на юг, не обосновавшись пока ни под какой крышей.

Впрочем, этот вопрос, как и другие сложные вопросы бытия, не тревожил их, и они бездумно наслаждались жизнью, беря от нее в первую очередь любовь. Жадно и ненасытно любились они везде, где было возможно: дома, во ржи под жарким высоким небом, в березовой роще, залитой голубым светом луны, в душных зарослях полыни, в густых луговых травах... Рада первая тянулась к нему, шепча: «Утоли моя печали». — «Утолю, утолю!» — отвечал Сергей, горячо целуя ее.

Иногда они ездили на мотоцикле в любимые Батыревым волжские займища. Он писал этюды, восхищаясь протоками, заросшими чаканом и стрелолистом, старыми осокорями с кривыми ветвями, одинокими дубами.

— Ах, как хорошо пахнет мокрая осока! Ты чуешь, Рада?

— Нет, не чую. Выдумываешь: осока не пахнет.

— Еще как тонко и свежо пахнет.

— А я говорю, не пахнет, — и не спорь со мной.

Сергей не хотел спорить.

Однажды он забрался на пружинящую кочку в болоте и стал звать к себе Раду:

— Иди, полюбуйся, какая богатая жизнь в болоте!

— Ну, уж...

— В самом деле. Притаись — и увидишь. Рыба, пиявки, лягушки, водяные крысы, всякие жуки, ужи... А какое богатство водорослей! Осока, чакан, камыш, ежеголовка, кувшинки и еще какие-то травы. И все тут растет и живет свободно, красиво.

— Выдумываешь: никакой красоты тут нет, — ответила Рада и не пошла на кочку, а стала торопить его с отъездом: — Поедем на Волгу, на песочек.

Как-то Сергей увлек Раду рассказом об Увеке:

— На этой горе был золотоордынский город хана Узвека или Узвяка, точно не знаю. Потом стали гору называть Увек. До сих пор там находят гончарные водопроводные трубы, изразцы, майолику. Поедем, может, и мы найдем что-нибудь древнее.

Ранним воскресным утром проехали они через весь город. Гора Увек еще не осветилась восходом, а поселок с таким же названием лежал в предрассветной дремоте.

На вершине горы свистел ветер, гнул к земле кудрявую полынь и редкие кустики ковыля.

Раде казалось, что ветер пахнет древними кочевьями, и в памяти оживали поверья, в детстве запавшие в душу.

— Я слышу конский топот и крики, — сказала она, в самом деле прислушиваясь к звукам, долетавшим откуда-то издалека.

— Это поезд. Вон вползает на мост. Как гусеница.

Восход застал их в обвалившихся канавах — то ли следах археологических раскопок, то ли в окопах зенитчиков, оборонявших в войну мост через Волгу. Они искали остатки давней жизни и находили глиняные и фаянсовые черепки, осколки металла, сгнившие доски. Сергей знал, что находки не древние, не имеют исторической ценности, но не остужал пыл Рады, наполнявшей мусором сумку.

Солнце осветило реку, гористый берег, займище с множеством озер, стариц и проток, блестевших в зарослях мелкоколосья.

Рада шумно вздохнула:

— Кажется, я лечу над этим простором.

— Да, какие дали под нами!

— Расскажи мне, Сережа, что знаешь про живших тут татар.

Он рассказывал общеизвестное, и Рада слушала, положив голову к нему на колени.

На юг ехали не спеша, останавливаясь для осмотра достопримечательностей, ночевали в палатке, которую ставили в придорожных лесных полосах, на берегах речек, в компании таких же автопутешественников. Дни были длинные, полные впечатлений. В голове было легко и весело.

— Как по-твоему, — спросил он однажды Раду, — когда устареет эта новая дорога, по которой мы едем?

— А зачем это знать? — удивилась Рада.

— Просто интересно. Скоро будет много-много автомашин, и, пожалуй, дорога окажется малопригодной.

— Ты много думаешь, Сережа, а надо просто жить,

— Не думая?

— А за нас подумано. Дорогу строили и подумали, на сколько лет ее хватит. И во всем так. Подумано за нас, сколько часов в день нам работать, сколько получать за работу, сколько метров жилья иметь, из какого материала и каких фасонов одежду носить, кого и куда выбирать. Все predetermined, живи. И где после смерти лежать, тоже за нас подумано.

Батырев покачал коротко стриженной головой, почмокал твердыми губами:

— М-да...

— А ты не давай, — бросила Рада. — Время-то летит быстро, поспевай жить, а думать некогда. Разве ты не видишь: везде все и всех торопят. Нам на работе все время твердят: «Скорей, скорей!» Я и гоню сварку. Темпы на первом месте.

— Поспешность лишает жизнь удовольствия, — возразил Батырев. — Я люблю все делать не спеша: читать не в троллейбусе, а удобно расположиться в уединении, в тишине... люблю ходить пешком... И люблю думать неторопливо.

— Знаю, вижу. Целый день можешь рисовать какое-нибудь дерево. А ведь можно сфотографировать на цветную пленку.

— Можно, конечно, — грустно согласился Сергей. — В живописи спешить нельзя, это не заводская техника и не поточное производство.

— Ну и даешь! — Рада рассмеялась и так газанула, что казалось, машина оторвется от асфальта и полетит по воздуху. Когда впереди показался знак «40», она сняла ногу с акселератора и улыбнулась мужу косящим взглядом с чувством превосходства. — Кто бы послушал тебя, так сказал бы: парень из двадцатых годов.

— А может, из прошлого века?

— Не сердись, дорогой!

— Я не сержусь, потому что убежден: поспешность сокращает жизнь.

— А я тоже убеждена: в век космонавтики все должно делаться быстро.

И она запела игривым голосом:

Спешите жить, спешите жить
И все от жизни брать:
Ведь все равно, ведь все равно
Придется умирать.

— Вот эта пошлая песенка — из прошлого века, — заметил Сергей с неудовольствием.

— А пусть! — И Рада погнала машину с такой скоростью, что Сергея прижало ветром к спинке сиденья.

4

Воспоминания совсем растревожили Батырева. Ругая себя за то, что отпустил Раду одну, он встал с постели, вылил стакан холодного вина, разбавленного водой, вышел на веранду.

Черная ночь. Горная речка бурлит по камням, обдает снежной прохладой. Шебаршит в виноградных лозах. Долетают тяжкие вздохи моря. Тоскливо Батыреву сидеть в скрипучем ивовом кресле и ждать утра.

5

Рада приехала днем. Поставила машину, закрыла тентом и только после этого вошла в дом.

Сергей спал.

Повалилась на него, пахнувшая дорогой, зашекотала:

— Вставай, соня! Жена приехала, а он дрыхнет, бесстыжий!

Сергей проснулся, заржал от щекотки, опрокинул Раду, поцеловал.

— Прости! Я только на рассвете уснул.

— Гулял, любовь крутил?

— Тебя все ждал, беспокоился.

— Смотри у меня! — она шутливо погрозила кулаком. — Убью! — Чмокнула Сергея в лоб, в щеку, рассыпала скороговорку: — Мне приятно, что ты волновался за меня. Значит, любишь. Со мной все было благополучно. Жила в пансионате для автопутешественников, ела в лучших ресторанах, обошла все магазины. Правда, один раз назревало приключение, но все обошлось.

— Какое приключение? — спросил Сергей.

— Еду по извилистому участку. Пусто. Вдруг два парня появились на дороге. Метрах в пятидесяти. Голосуют. Подтормозила и сигналию, чтобы убрались с пути. Не уходят, машут руками. Зло взяло. Сбивать их не собиралась, а на всякий случай монтажную лопатку на сиденье положила. Ты знаешь, я всегда ее на полу держу. Думаю, если нападут — шваркну лопаткой по башкам. Не выдержали у них нервы, в двух шагах от колес отскочили в сторону, а я газанула.

Рада вывалила перед Сергеем покупки.

— Эти сапоги-чулки я с рук купила, на улице. Прелесть!

— У тебя же полно всяких сапог.

— Но сапоги-чулки на платформе сейчас модные. Как ты не понимаешь!

— Не понимаю. И галстук мне зачем купила? Широкий во всю грудь. Я такие не люблю.

— Чудак! За такими галстуками в Москве, в Столешниковом переулке, прямо душатся.

— Пусть душатся.

— Ну, ничего, будешь носить.

Батырев уступчиво кивнул головой, равнодушно глядя на новый перстень, на кофту, на белье, на детали и резинки для автомобиля.

— Прошмыгнулась в Сухуми с пользой и с интересом, — заключила Рада, ласкаясь и мурлыкая. — Соскучилась по своему муженьку!.. А ты скучал?

— Очень. Скучал и работал. Вон натюрморт.

— Ладно, потом посмотрю. Сегодня — никакой работы. Сегодня — день мой!

Все в этот день было у них прекрасно: нежность, взаимное внимание, прогулки пешком, купание.

— Ужинать будем в ресторане: дома не хочется возиться, — сказала Рада, когда они шли после концерта в редкой тени эвкалиптов. Рядом в золотистом свете налитой спелостью луны тяжело вздыхало море. Сладко пахли розы и табак на клумбах вдоль тротуара.

Ресторан-веранда повис над бурливой речкой, впадающей в море. Тут, под пальмами и магнолиями, было прохладно и уютно. В речке остужались бочки с пивом, качалась волосато-косматая зелень, растущая на камнях.

— Хорошо! — выдохнула Рада, устало усаживаясь за столик у перил, увитых цветущими глициниями. — Вот здесь нам некуда и незачем спешить. — Глаза ее смотрели на Сергея преданно, и лицо осветилось нежностью. — Читай карточку, я есть хочу.

Сергей вслух перечислял блюда, а Рада слушала сосредоточенно.

— Закажем икорку зернистую, — она потерла ладонь о ладонь, выражая этим предстоящее удовольствие от еды. — Жареную уточку с яблочками, мороженое.

— А что будем пить?

— Ты же знаешь, Сережа, что я спиртное не пью.

— Кофе? Фруктовую воду?

— Боржом.

— А я возьму стакан мукузани.

— Мне нравится, что ты не пьешь крепкие напитки.

— Ценю твое одобрение. — Сергей подмигнул ей.

У него было сейчас легко на душе.

Заиграл оркестр, и затанцевали пары. К Раде подплыл неслышной походкой молодой мужчина, поклонился вежливо, пригласил к танцу.

— Простите, я уже приглашена. — Она потянула Сергея. — Потанцуем.

Гибкая, сильная, она танцевала легко, шептала:

— Сегодня буду танцевать только с тобой.

— Сегодня ты особенная, — шептал над ее ухом Сергей.

Она отвечала ему счастливой улыбкой.

Ужиная, они смотрели друг на друга влюбленно, и не хотелось им ни о чем говорить: все ясно, все определено, все значительно.

Ресторан шумел, смеялся, танцевал. Бездумно жила в этот поздний час Рада, чувствуя себя возвысившейся над обыденностью.

А потом, в черноте южной ночи, влажно пахнувшей морем и цветами, была любовь...

Уснули они под утро, а проснувшись днем, нежились в постели.

— Ты вчера был хорош, Сереженька. — Рада погладила мужа по щеке. — Веселый, внимательный... парень как парень. А то все думаешь, думаешь, как старик.

Сергей рассмеялся, потом заговорил серьезным тоном:

— Я — художник. А художник, как и писатель, артист, всегда занят образами, мыслями. Иной раз лежу я на диване, и ты думаешь, — отдыхаю. А я думаю о картине, которую пишу.

Рада верила и не верила ему.

— Ты ведь тоже думаешь о своей работе.

— Никогда. Почти никогда.

— И не тоскуешь по работе?

— Нет. Работа — это обязанность. Я стараюсь сделать больше и лучше. Сказать откровенно, так я хотела бы работать на автомашине.

— На грузовике?

— На легковой. Какую-нибудь персону возить. Утром привезла на работу и до обеда нечего делать, сиди, читай или кофту вяжи. Своди пообедать и до конца работы опять сиди. У парадных подъездов учреждений табуны «Волг» все дни стоят, а водители романы читают.

— Смотря какая персона, — возразил Сергей. — Иную персону привезешь на работу, а потом поступишь в распоряжение его жены, тещи, детей, — повезешь в магазины, в школу. А летом на дачу, в воскресенье в лес за грибами, на рыбалку... Знаю я таких водителей: себе не принадлежат.

— С такой работы я бы сразу ушла.

— У тебя хорошая работа.

— Автомобиль люблю, Сережка! Это же как живое существо, автомобиль-то.

После завтрака Рада надела рабочий комбинезон, спрятала волосы под парусиновую шапочку.

— Надо осмотреть машину, подтянуть, подрегулировать, прочистить, смазать.

Сергей восхищенно смотрел на Раду, на веселую заботливость ее, на пальцы с поломанными ногтями, цепко и бережно раскладывающие на брезенте инструменты.

— Сережа, милый!

— Что, дорогая?

— Будь мужчиной: достань из багажника сумку с домкратом.

— А еще что?

— А еще подложи под колеса колодки. Потом вынь мешок с камерами, будем заклеивать проколы,

Голос ее звучал звонко и весело.

Текли беззаботные дни. Море было ласковое, свежее, пахнущее солнцем и дальним ветром. В мареве голубели высокие горы. Дух праздности все больше врывается в жизнь городка: наступил разгар отпускного лета, и приезжие заселяли не только комнаты в домах местных жителей, но и сарай.

По утрам Рада ходила на базар. Домой возвращалась радостно возбужденная, с большим букетом роз. За ней шел носильщик с сумками, полными фруктов.

Щедро заплатив носильщику, Рада прежде всего устанавливала в вазу розы, не переставая восхищаться:

— Какие розы! Ты только посмотри, Сережа! А запах!.. Ой, я умру от счастья! Когда у меня будет большая квартира, я одну комнату отведу под розарий. Чтобы круглый год были розы. Всякие: белые, чайные, плетистые, штамбовые, центифольные, полиантовые. И чтобы балкон был увит розами.

— Недурно, — с безобидной усмешкой произнес Батырев.

— Вот что, Сережа. Нарисуй этот букет на память. Каждый лепесток нарисуй в точности.

Сергей промычал что-то неопределенное, потер нос, задумчиво глядя на жену.

— Нарисуешь?

— Видишь ли... — Сергей показал рукой в сторону террасы. — Я пишу дворик и не хотел бы переключать рабочее настроение на другое.

— Станный ты все-таки человек, Сережа.

— А именно?

— Ну, сам посуди: рисуешь и не знаешь, получишь ли что за свою картину, продашь ли ее?

— Работаю для души и не думаю о деньгах.

— Как же так? — удивилась Рада. — Мы на заводе заранее знаем, сколько получим за работу. Из наряда все ясно.

— И у художников бывает иногда работа по договорам, заказная.

— Так возьми и ты такую работу.

— Это не так просто.

— Да-а, — Рада задумчиво вздохнула. — Так нарисуй розы? Дома повесили бы на память.

— Я уж сказал: не хочу перестраиваться. И кроме того, не ужогу тебе.

— Чем не угодишь?

— Я не фотограф, а художник, я не хочу в точности рисовать каждый лепесток, каждый листок и каждый шип.

— Не хочешь?

И Рада принялась разбирать фрукты и овощи, а Сергей ушел на террасу, к этюднику.

С час прошло в молчании. Рада приготовила овощной салат, сварила сосиски, наломала на куски лаваш, позвала Сергея.

За завтраком он сказал, как бы между прочим:

— Я буду ходить с тобой на базар — и не надо будет нанимать носильщика.

— Рублевку носильщику пожалел? — с раздражением спросила Рада.

— Не жалею рублевку. А как-то неловко.

— А я люблю, чтобы меня обслуживали. Не даром ведь, за мои деньги! Я заработала обслуживание.

— Ну, ладно, ладно, только не сердись.

Раде было приятно, что Сергей не стал спорить, но что-то похожее на досаду томило ее душу, вызывая сердечную тоску по каким-то не очень ясным, несбывшимся желаниям и неоправдавшимся надеждам. «Скучно, — жаловалась самой себе. — Завтра прогулка по морю. Разве его вытащишь». Сказала другое:

— Ешь больше, а то похудел ты что-то.

Потом, когда Сергей работал, она подошла к нему, нежно положила руки на плечи, прижалась грудью к голове, задышала духами и теплом.

— Не сердись, что я такая... реактивная... своевольная... непонимающая тебя.

— Я люблю тебя такую, какая ты есть, — Сергей погладил ее руку. — Но не мешай мне работать.

Рада обиделась.

— Я тебе мешаю! Вкалывала, вкалывала на заводе, чтобы поехать сюда отдохнуть... первый раз в жизни у моря... А тут... торчишь около твоих холстов да еще, оказывается, мешаешь. И это называется наш медовый месяц.

Слезы потекли из глаз, она размазала их пятерней по щекам и спрашивала с укором:

— Ну, зачем ты женился, зачем?

Сергей сложил этюдник: работать он уже не мог.

— Успокойся, Рада, прости меня. Понимаешь, когда я работаю, не люблю, чтобы мне мешали. Ты бы подождала немного, отдохнула бы, почитала бы.

Он сел рядом с ней, стал утирать лицо от слез, понемногу она успокоилась и даже сказала с великодушной улыбкой:

— Я прощаю тебя.

А спустя несколько минут она уговорила Сергея посвятить завтрашний день морской прогулке на пароходе и вся посветлела от удовольствия.

7

Экскурсионный пароход бойко резал пологие волны и, покачиваясь, плыл в километре от берега. Стая дельфинов резвилась на потеху людям. Животные выпрыгивали из воды, подныривали под пароход, плыли рядом с бортами, с необыкновенной скоростью уносились вперед и затем возвращались. С парохода бросали яблоки, куски хлеба, и дельфины подхватывали дары с ловкостью цирковых жонглеров.

Рада бросала дельфинам яблоки и кричала с детским восторгом:

— Какая скорость, Сережа, ты видишь? Дай чего-нибудь еще.

— Да ты уже побросала весь наш завтрак.

— Давай! С голоду не умрем.

Когда дельфины исчезли, Раде стало скучно. Сидеть не хотелось, а ходить негде — палуба маленькая.

Но вот в шумной группе молодежи раздался повелительный голос:

— Внимание, мальчики и девочки! — Высокий мужчина, порядочно увядший, поправил длинноволосую прическу, стараясь прикрыть просвечивающую макушку. — Споем! — Он вытащил из портфеля картонку с крупно написанными словами песни, кивнул баянисту, и тот заиграл. Пропев первый куплет, мужчина передохнул: — Запомнили мотив? Теперь пойте вместе со мной.

Рада шепнула Сергею:

— Затейник, наверное, из какого-то санатория. Вон как притопывает под баян, поет старательно, а в глазах непролазная скука.

— Такая работа, — сказал Сергей.

— Что заставило его идти на такую работу? Лучше бы камни ворочал.

— Кому что нравится, не надо осуждать, Рада.

Прогулка на пароходе возбудила Раду. Ей не хотелось сидеть вечером дома, и она потащила Сергея на танцы, на турбазу. Надела расклешенные брюки, выпустила из-под безрукавной легкой блузки на грудь подвеску — чеканку на тоненькой золотой цепочке, удлинила черным карандашом глаза, накрасила синим верхние веки, повертелась перед мужем.

— Ну, как?

— По моде.

— Что и требовалось доказать, — Рада удовлетворенно рассмеялась. — Дай поправлю тебе галстук. Какой-то ты у меня не фасонистый, а я хочу, чтобы все видели тебя в ажуре: шик, блеск, эlegant. По тому, как выглядит муж, судят о жене.

— Ты и так за мной следишь, хожу наглаженный, вычищенный, того и гляди, сороки унесут.

И Сергей нежно поцеловал Раду.

8

Турбаза принимала гостей на танцы из всех санаториев и домов отдыха. Тут было тесно и шумно. Магнитофон работал без отдыха, и танцующие пары, не уместившись на деревянном настиле, уплывали в аллеи.

Сергей и Рада потанцевали и только сели на скамью, как к ним подошел мужчина:

— Добрый вечер! Не узнаете?

Затейника с парохода узнали.

— Разрешите пригласить, — мужчина протянул руку Раде.

Плавню струилась неторопливая мелодия, и голос Эдиты Пьехи звучал с нежной грустью: «Только песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой».

Вдруг все звуки перебил крик.

Сергей узнал голос жены, и бросился на крик.

В полутемной аллее, окруженные любопытными, стояли затейник и Рада. Затейник что-то бормотал, а Рада норовила ударить его по лицу, но никак не могла дотянуться.

Сергей прорвался через толпу, взял ее за руку:

— Что случилось?

— Дай ему в морду!

— Пойдем отсюда.

Под хихиканье и смешок толпы Сергей увел Раду с турбазы. Возбужденная и растерянная, она зло говорила:

— Ты трус! Почему ты не дал ему в морду?

— Что ты говоришь? Как это можно драться!

— А спускать нахальство всякому шалыгану можно?

— Да что случилось-то?

— Что, что? Сам понимать должен. Поцеловал он меня.

— Конечно, он нахал. Но драться я не могу. Ты уж прости меня.

— Какой ты несовременный, какой тюха!

Рада заплакала. Тихо заплакала, надолго. Плечи ее содрогались, и дрожь передавалась Сергею. Он и сам готов был заплакать от обиды за жену. Злился на себя: «Почему я такой? Ведь не трус же я. И сила есть. А драться противно».

9

После того вечера Рада стала малоразговорчивой. Никуда ее не тянуло, не ходила даже на пляж. Сидела на террасе, вязала что-то на спицах. Сергей ловил грустно-задумчивый взгляд ее, но не тревожил расспросами.

Рада сама открылась:

— Сережа, я, кажется, разочаровалась в тебе. Ты не мог заступиться за меня.

— Если бы тебе угрожала опасность, я заступился бы.

— Обязательно опасность? Это если бы меня ножом пырнули? Да? Ножом в живот? Эх ты!

— Нельзя же было устраивать скандал. Я проявил выдержку, и мы ушли без скандала.

— Выдержка! — Рада горько усмехнулась. — Ты готов застегнуть меня на все пуговицы наподобие себя. А я не хочу, не хочу!

Горячие глаза ее смотрели на Сергея с таким презрением, что он отвернулся и произнес с подчеркнутым равнодушием:

— Ну, и живи расстегнутой.

Они опять надолго замолчали. Потом он сказал, придавая голосу нежность:

— Наверное, у нас с тобой несовместимость... Характеров, понятий, вкусов, душ... Или просто мы не подготовлены к семейной жизни. — Он помолчал, расхаживая по комнате, потом голос его взорвался на высоких нотах: — Но я ведь люблю тебя!

Рада повела на него прищуренными глазами, вздохнула протяжно и шумно:

— А я уж теперь и не знаю, люблю ли тебя.

— Спасибо за откровенность.

— Хитрить не умею, лгать не хочу. Нам надо расстаться, пока я не обрюхатела.

— Ну, зачем так грубо?!

— Что, ухо режет? Ничего, словцо точное и незазорное. Пушкин в нежных письмах жене его употреблял.

Они никогда не говорили о детях, которые могут быть. Батырев считал, что дети в семейной жизни — это само собой разумеющееся, и говорить тут не о чем, их надо ждать. И теперь слова жены отозвались в душе его горечью.

— Ты не хочешь ребенка?

— Я хочу жить. — Рада смотрела в сторону, и взгляд ее из-под нахмуренных бровей был сух и тверд. — Не хочу обабиться. Затраты на детей не окупаются. Ни материальные, ни моральные. Отдачи нет.

— Кому отдачи? — спросил Сергей, все больше недоумевая.

— Родителям.

— А обществу? Ведь общество получает новых граждан.

— Общество. — Рада рассмеялась и перевела на Сергея уже помягчевший, покровительственный взгляд. — Общество — это ведь что-то абстрактное, а родители — это конкретное. А потом... общество обойдется без моих детей. Людей много.

— Ты сама до этого додумалась или наслышалась?

— Все старики об этом говорят: «Растишь, растишь детей, а потом от них ноль внимания, фунт презрения».

— Я так и подумал: не свои мысли ты говоришь, чужие.

— Ты не веришь мне?

— Верю. Но мысли чужие прилипают к тебе, а потом приходят на ум со зла. Так ведь?

— Не знаю.

Сергей обнял ее и продолжал говорить снисходительно:

— Просто ты очень молода... В тебе много еще девчоночьего.

— Это плохо?

Он помедлил с ответом, и Рада продолжала:

— Ты только на три года старше меня, а мне кажется, лет на десять.

— А это плохо?

— Непривычно, Сергей, — Рада посмотрела ему в глаза с молчаливым извинением. — Обо всем за нас подумано, а вот как замужем жить — об этом никто не подумал. А это, оказывается, так трудно.

— Да, трудно. — Сергею показалось, что наступила та минута, после которой размолвка рассеется, и он говорил тихо, примиряюще: — Давай учиться жить.

— Как это учиться? По-моему, если есть любовь, то и жизнь семейная должна идти гладко, без сучка без задоринки.

— Я тоже так думал, а теперь понял другое: мало любить, надо еще уметь строить жизнь. И это зависит от каждого из нас.

— Все может быть, все может быть, — меланхолично ответила Рада.

И потянулись тоскливые дни. Настроение Рады было переменчивым: неожиданное веселье вдруг сменялось грустной задумчивостью. Сергей пытался понять ее, пробовал расспрашивать, но она и сама не понимала своего состояния и ничего не могла ответить ему. То она говорила, что уедет одна, то отказывалась от этого намерения.

— Взбалмошная я, видно, — как-то сказала она, смеясь, на что Сергей рассердился:

— Это слишком дорогая взбалмошность. Нечем тебе занять себя, дуришь от безделья. Читала бы хоть.

Рада ответила зло:

— Буду старухой, тогда начитаюсь, а пока молода, хочу жить.

— Как ты понимаешь это «жить»?

Она помялась и не нашла, что ответить — и еще больше обозлилась.

Как-то вечером они пили на веранде чай. Где-то за горами еще светило солнце, румяня белые облака над

морем, а город лежал уже в густеющих лиловатых сумерках. Трещали древесные лягушки, журчала горная речка, долетал равномерный гул моря.

Сергей любил эти вечерние часы, когда казалось, время течет медленнее обычного и в душу вселяется покой и бездумье.

Ему казалось, что Рада поняла наконец прелесть вечера и стала ближе ему, роднее.

— Тебе хорошо сейчас? — спросил он, ожидая легкого кивка головы и тихой улыбки жены.

— Сережа, — произнесла она печально, не своим голосом. — Я эти дни много думала о себе и о тебе.

— И что же? — спросил он глухо и настороженно.

— Я подумала... мне кажется... может, ошибаюсь, но... — и решительно выпалила: — Жизнь наша что-то не то. Я представляла иначе. Как — не знаю, только иначе... Надо расстаться... на время... проверить.

— Ну что ж, — стараясь быть спокойным, произнес Сергей. — Вернемся домой, квартиры у нас нет, и станем жить врозь: ты у своих родителей, я у своих.

— Нет, не так. Я должна уехать сейчас, завтра... А то я не знаю, что со мной будет.

— Хорошо. Но как ты дома объяснишь свой приезд?

— Очень просто. Тебе надо порисовать тут, время у тебя есть, а у меня мотогонки через неделю.

— У тебя и мотоцикла нет.

— В автотоклубе дадут. Может, я попаду в сборную команду области и на республиканские соревнования поеду. А? — Глаза Рады вдруг заблестели и все лицо осветилось радостью.

— Делай как хочешь, — устало сказал Сергей.

10

До самых последних минут Сергей не верил в разрыв с Радой. На то, как она готовила машину, как укладывала в чемодан свои вещи, он смотрел иронически, точно на женскую блажь, скоропроходящую и неопасную.

Но вот они позавтракали, и Рада спокойно сказала:

— Давай присядем, Сережа, перед дорогой по русскому обычаю. А когда уселись, продолжала все тем же спокойным и скорбным голосом: — Нам надо пожить врозь, разобраться в себе. Мы лучше поймем друг дру-

га на расстоянии и тогда уж решим: жить или разрубить напроочь.

— Нет, ты не поедешь.

— Этот вопрос я решила, — теперь слова ее звучали с материнской строгостью и незыблемостью. — И ты меня не удерживай. За рулем я успокоюсь, все обдумаю, а ты поживи тут, порисуй. За комнату заплачено. Возьми денег. — Она растегнула сумку.

— Не надо, у меня есть, хватит.

— В случае чего, дай телеграмму, пришлю.

Она рывком подняла со стула свое сильное легкое тело.

— Ну, пока! — Сомкнутыми сухими губами скупно, как сестра, поцеловала Сергея в уголок рта и быстро пошла во двор, к автомашине.

11

Чувствуя себя осиротевшим, Сергей уныло, с пустой душой бродил по улицам, заглядывал в кафе, выпивал кислого вина, толкался на базаре. Бездельный день оказался необыкновенно долгим, тягучим и скучным. Не один раз купался в море, прочитал все газеты, какие были в киоске, проехался на электричке до ближайшей станции и обратно, — и все без интереса, лишь для того, чтобы заполнить время, которого вдруг оказалось непривычно много. Работать он не мог, потому что мысли его были заняты Радой. Он толком не понимал, что случилось, и не предполагал, чем все в конце концов кончится.

Уже вечерело, когда он, издерганный и усталый, зашел на почту и написал Раде сумбурное и нежное письмо. После этого ему стало легче, и он почувствовал голод. Придя домой, он хорошо поужинал и, не тревожась ни о чем, моментально уснул, а утром встал с ощущением легкости в теле и с душевным спокойствием.

Закинув за спину этюдник и взяв в руку длинную палку, Сергей отправился в горы, к водопаду, который увидел как-то во время прогулки и порывался написать, да Рада не захотела скучать несколько часов.

Шел он долго по каменистой тропе вдоль бурного ручья. Солнце прорвалось в ущелье, и вода, прыгая по порогам, играла фиолетовыми брызгами, росой оседала

на кустах шиповника. Прозрачный воздух нес в вершин запах снега. Шагалось легко, и было бы весело, если бы не думы о Раде. Плохо веря в случившееся, Сергей не мог найти ему объяснения. Не в том же дело, что он не стал драться с нахалом. Все представлялось серьезнее, глубже. Быть может, он с самого начала повел себя неправильно? Был невнимателен, не нежен, не ласков? Да, он стеснялся часто и много говорить о своих чувствах. Боясь показаться приторным, таил глубоко любовь.

Сколько ни думал Сергей, а так и не нашел удовлетворительного объяснения поведению Рады. И тем не менее он готов был всю вину взвалить на себя, только бы примириться.

Когда он дошел до водопада, мысли его перестроились. Некоторое время он стоял, глядя на крутую, всю во влажном блеске скалу, на зеленые кусты, чудом уцепившиеся корнями в камне, на низвергающийся шумный поток хрустальной воды, на водяную пыль висевшую прозрачным облаком, в которой переливались цвета радуги.

Как хлебопашец перед тяжелой работой, Батырев поел хлеба с помидорами, напился из водопада и, раскрыв этюдник, медленно и глубоко вздохнул, собираясь с силами, выдавил на палитру краски из тюбиков, прошептал:

— Утоли моя печали!

И все, что еще недавно томило душу, куда-то ушло, рассеялось, мысли очистились от суетного; рука привычной кистью сделала первый мазок на холсте, и вскоре Сергей Батырев забылся в работе, отрешившись от всего на свете.

Жарко. В чаще низкорослой ольхи воздух плотный, влажный, удушающий. От болот, густо поросших кугой и осокой, пахнет прелью и парной сыростью. Все неподвижно, все замерло — кусты, деревья, трава. Только комары вьются роем, да слепни, пестрокрылые, с выпуклыми сетчатыми глазами, липнут ко всему живому.

На невысокой плешивой гривке стоит автомашина. Она только что пробралась сюда по кочкам и ямам, мотор еще пышет жаром, и в радиаторе булькает закипевшая вода. На этой машине приехал Говорухин со своим водителем Сашей.

— Тут, пожалуй, никого кроме нас и не будет. — Говорухин тяжело вылезает из машины, оглядывается. — Сто километров от города: не любому-всякому сподручно добираться.

— Не скажите, — отзывается Саша. — Сколько хочешь приедут.

— Ну, мы — первые и захватим местечко получше, — твердо возражает Говорухин, продолжая оглядывать ровную болотистую местность, кое-где поросшую мелко-лесьем.

— Вот черт! — вдруг выругался он, хлопая себя по толстой шее, затем по руке. — Слепней-то сколько!..

— На дураков мухи падки, — ответил Саша, пиная резиновым сапогом колесо.

— Ты это про кого? Уж не про меня ли? — спокойно спросил Говорухин.

— Поговорка такая. Но можно про нас обоих. Ну, разве умный человек поедет в такую даль за утками? Сейчас слепни кусают, ночью комары зададут жару.

— Поэзия охоты выше неудобств, — изрек Говорухин с особенным удовольствием.

Охота!.. Кто хоть раз почувствовал ее сердцем, того всегда будет волновать раскатистый звук выстрела, острый запах сгоревшего пороха, приятная усталость от долгой ходьбы, ночной костер и охотничьи байки за кружкой горячего, черного, как деготь, чая.

Говорухин любил охоту за то, что там он мог быть самим собой, мог говорить, что думал, не подбирая слова на общепринятый образец, как, например, газетная статья или речь с трибуны, он мог вдоволь пить водки, не боясь посторонних глаз и осуждений, не рискуя уронить авторитет в глазах подчиненных. Поэтому летом и зимой, перед началом охотничьего сезона, он загодя говорил водителю: «Саша, скоро на уток», или: «Саша скоро на зайцев». Саша отвечал неизменно одно и то же: «Будет!» Это означало, что он должен позаботиться о боеприпасах, вывести в союзе охотников, где в этом году наибольшее скопление дичи, подготовить машину к бездорожью.

Так ведется уже более двадцати лет. На многих и разных должностях побывал за это время Говорухин, но с Сашей не расставался, перетаскивал его за собой, без него он как бы не чувствует себя полноценным деятелем. «Мы оба привыкли друг к другу», — говаривал он шоферу в минуты благодушного настроения. «Притерлись», — соглашался Саша.

Вот и сейчас, на этих глухих степных болотах, Говорухин чувствует себя с водителем как с родным.

— Вот что, Павел Елизарыч, — говорит Саша, протягивая своему начальнику пачку сигарет, — покурим — да и за дело.

Несколько минут они курят. Худощавый, спокойный в движениях, Саша стоит, привалясь к машине, рассеянно смотрит куда-то мимо старой ветлы. Говорухин усаживается на землю, долго устраивается поудобнее, кряхтит. Говорухин еще не стар, лет пятидесяти, плотен, круглолиц, взгляд маленьких, глубоко сидящих глаз восторженный, как у юноши.

Сейчас его внимание привлекла крохотная дырка на брюках: «Думал, износа не будет, а изнасились». Он ковыряет ногтем материю, туго натянутую на коленке. Когда-то в этих брюках и в такой же гимнастерке, подпо-

ясанной широким ремнем, в сапогах Говорухин ходил на работу, на торжественные заседания, в театр и в гости. «На то была мода,—размышляет он, вспоминая былое.—Теперь в сапогах да в галифе — только на охоту, а всюду являйся в пиджачном костюме, в галстук... Да-а, все переменчиво...»

Размышления Говорухина прервал Саша.

— Ну, я в разведку, — сказал он, — а вы тут займитесь... — Он не договорил, зная, что Говорухин все понял.

Натянув голенища резиновых сапог до паха, Саша пошел напрямик через кусты, ступая длинными ногами легко и неслышно.

Говорухин докурил, затоптал окурок в сырую луговину, пошел искать валежник. Так уж повелось издавна, что сбор топлива на охоте и рыбной ловле входит в его обязанности, как и вся самая простая работа. Шофер Саша, отличный охотник, руководит охотой. Это Говорухин признавал за ним беспрекословно и подчинялся ему добровольно.

Одного он не мог понять: почему он, вооруженный прославленной зауэровской бескурковкой, всегда добывает дичи меньше, чем Саша со своей старенькой «тулкой». И зрение у него, у Говорухина, хорошее, и руки сильные, а что-то не получается, что-то не везет...

Медленно идет день. Солнце показывает время паужина и уже не так печет, как в полдень, но все еще жарко и ослепляюще. Тишина стоит гнетущая, мертвая. Шаги Говорухина и треск ломаемых им сучьев раздаются пугающе громко. Мокрый, весь в поту, он садится у кучи хвороста, вытирает лицо и шею большим клетчатым платком, осматривает ссадины на руках, ворчит на жару, на мух, на шофера...

Саша пришел по-прежнему неслышно, когда Говорухин подремывал в тени машины, глянул на хворост, бросил небрежно:

— Мало.

Открыв глаза и почесав под расстегнутой и распоясанной гимнастерской, Говорухин осторожно спрашивает:

— Может, хватит, Саша? А?

— Мало! — твердо, почти повелительно отвечает шофер.

— Может, ты разок сходишь, Саша?

— У меня другое дело, машину надо проверить, чтоб в полной готовности. Я же шофер. Слово французское, означает — водитель. Значит, я обязан только водить автомобиль. Вот, например, машинист на железной дороге, приходит на работу — ему дают подготовленный исправный тепловоз, и он ведет его. Или летчик. Ему самолет подготовят техники, механики, электрики, его дело лететь. Или врач-хирург — берется за операцию, когда ему приготовят весь инструмент, материал, лекарства, он вымоет руки и приступает к операции. А я? Мое дело водить автомашину, а я ремонтирую ее, готовлю к поездке, мою, смазываю. Нет, это дело не мое. Это должны делать слесаря, мойщики, механики и давать мне машину технически исправную, чистую.

— В больших гаражах так и делают, а у нас на все учреждение одна машина, этот «козел», и по штату положен только водитель.

— Можно приглашать со стороны механика, мойщика, слесаря. А я все делаю — и к этому привыкли, будто так и надо. Не обязан я, нанимался баранку крутить. А случись вот, не поедет она завтра? А? Придется лезть под нее, копать. Павел Елизарыч будет еще похрапывать, а я машину всю проверю, измажусь, как черт, в масле.

— Верно, — морщась, соглашается Говорухин и хмурый идет в кусты, а когда приносит охапку хвороста, Саша качает головой.

— Что это? — с укоризной спрашивает он. — Прутики, прогорят в момент, как порох. Надо толстых... Топором сухостойных стволов нарубить.

Взяв топор, Говорухин нехотя отправляется за дровами, а Саша перебирает в охотничьей сумке, напевает. Вскоре доносятся глухие удары топора.

— Так-то, Павел Елизарыч! — шепчет Саша и с усмешкой поворачивает лицо в сторону невидимого Говорухина.

Наконец топливо заготовлено, и охотники садятся над сумками с провизией: надо подкрепиться перед ходьбой по болотам. Достают еду, раскладывают на брезент: хлеб, вареные яйца, копченую колбасу, помидоры, редиску, пучки зеленого лука.

— Саша! Где там у нас?..

Шофер до пояса влез в машину, и Говорухину виден

только тощий зад его и худые ноги, в загнутых раструбами резиновых голенищах.

— Сейчас, — слышится из машины, и вслед за этим Саша пятится задом, вытаскивая ведро.

— Лед-то не весь растаял, — говорит он, ставя в тень ведро, и достает из него банку с маслом, бутылку водки. — Холодненькая, мерзавка!..

— Э-э-э! — блеет Говорухин и трет ладонь о ладонь. — Перед охотой сам бог велел.

Чокаются складными походными стаканчиками, выпивают, крякают, закусывают молча, сосредоточенно.

После второго стаканчика Говорухин совсем развесялился. Хрустя малосольным огурцом, говорил нараспев:

— Замечательно! Воздух... тишина... свобода!.. А ты заметь, как легко тут водка пьется... как по маслу в горло проскальзывает... Потому что на природе. Хорошо ведь? А?

— Хорошо, Павел Елизарыч.

— А как утки?

— Есть. Только не взлетают. Рядом в осоке прячутся, а не взлетают. Крепки на сидку. Придется ходить по болоту, выгонять под выстрел.

— Что ж, походим: не привыкать.

Допив поллитровку и наевшись, они убирают продукты в машину и лежат, покуривая.

— А ты молодец, Саша! — Говорухин хлопает шофера по плечу. — В какое глухое место привез! Красота!.. И всегда так... — Помолчав немного, он с еще большим восторгом продолжает: — Бог ты мой! Сколько мы исколесили с тобой!.. А-ах! Ты незаменимый, Саша! За это и держу тебя. Хоть иной раз ты и дерзишь мне.

— Это не дерзость, а прямота. — Подумав, Саша добавляет: — А сами-то вы!.. Порой так завернете, что до печенок обидно. А еще Матрена Кузьминишна. Не уступит вам в ругани.

— Во-первых, не зови ее Матреной, она страх как не любит этого, а зови Мариной.

— Ладно, пусть Марина.

— Во-вторых, она женщина, ну а это значит — в натуре ее капризы, вспыльчивость, гордость наконец...

— Другой бы на моем месте не простил... Марине Кузьминишне, а я... привык я к вам.

— Ну, ты ее прости. А?.. Что, плохо тебе у меня?

— На побегушках у Матрены Кузьминичны трудно быть. Загоняла: туда свози, то привези, как будто я к ней нанимался, а не в учреждение.

— Ну, я ей укажу, больше не будет этого, станешь ездить только по служебным делам.

Саша недоверчиво смотрит на Говорухина.

— Разве тебе плохо у меня, Саша?

— Да нет, не так чтобы плохо.

— То-то! Я с тобой не расстанусь, ну и ты держись за меня. На мой век выборных должностей хватит. Может, еще на «Волге» возить меня станешь.

— Будет хвастать-то!

— А что, неправду говорю?

— Правду. Давайте отдохнем.

Не проходит и минуты, как из-под куста слышится дружный храп. Спят они крепко, раскинув руки и ноги, над раскрытыми ртами их выются мухи, ползают по лицу.

А солнце тем временем опускается ниже, тень от куста делается длиннее, воздух понемногу остывает, и лягушки неуверенно начинают пробовать свои голоса.

Просыпаются охотники потные, с отеками глазами, растирают онемевшие руки, выпивают по бутылке пива.

— Пора! — говорит Саша, поглядывая на запад, где солнце мигает напоследок, перед тем как утонуть в туманной лиловой дали.

Они опоясываются патронташами, вынимают из чехлов ружья. Пока Саша запирает и проверяет дверцы машины, Говорухин прицепляет к поясу нож в кожаных ножнах.

Внезапно слышится треск мотоцикла. Все ближе, ближе, вот он останавливается, глохнет — и доносятся неясные человеческие голоса.

— Принесло! — злится Говорухин, еле поспевая за Сашей.

2

Болото было большое, мелководное, травянистое, с изорванными низкими берегами, поросшими лозняком. Трава над водой шевелилась, из нее доносилось утиное криканье. Саша бросил в болото палку, но утки не вылетели.

— Топтать! — сказал он и шагнул в прибрежную заросль. — Идите на те кустики...

Говорухин полез в болото, ноги провалились в вязкое дно, запутались в зарослях.

Вдруг его оглушило шумом, плеском, обдало брызгами, и прежде чем он успел что-нибудь сообразить, пара кряковых, со свистом рассекая крыльями воздух, взмыла над камышом. Рядом грохнул выстрел, одна утка как-то неловко повалилась на крыло, судорожно пробуя удержаться в воздухе, потом камнем шлепнулась в воду. «Везет Сашке», — подумал Говорухин и, взяв на изготовку ружье, пошел, с трудом вытаскивая из тины ноги.

Утки теперь поднимались из травы часто, шарахались из стороны в сторону, летали кругами над болотом и с лету плюхались в густые травянистые заросли. Все чаще слышались выстрелы со всех сторон, и Говорухин понял, что охотников понаехало. Покой болот был потревожен, утки метались, перелетая с места на место, попадая под выстрелы.

Говорухин уже не один раз вскидывал ружье и стрелял поочередно из обоих стволов. Но... то ли дробь не доставала дичь, то ли он промахивался, только ни одной утки он не добыл. Потный, весь облепленный комарами и оводами, он все больше нервничал, торопился и мазал.

Тогда он решил отдохнуть, успокоиться и остановился под ивой, росшей на болотной кочке, осмотрелся. Насколько видели его глаза, всюду было болото с плешинками воды в траве, с редкими кустами ивняка, кулигами камыша. Пальба усиливалась. Везде в этих труднопроходимых топях скрывались охотники. Не видно стало и Сашу.

Но вот солнце село, и утки потянули на болото с полей, с дневной кормежки.

— Валом валит, — зашептал Говорухин, поглубже прячась под ветви ивы.

И тут ему подвалило охотничье счастье. Прямо перед ним, совсем недалеко, опустилась на воду стая чирков и серых уток. Дрожа от волнения, не помня себя, Говорухин жахнул дублетом, не целясь, и когда стая улетела, увидел: одна утка лежала неподвижно. И опять Говорухина бросило в дрожь и в жар. Сильно ботая, он поспешил за птицей, потом привязывал ее к ременной петле-удавке на поясе, еще теплую, с шелковисто гладкими

перьями, с полуоткрытыми помутневшими глазами. Тихо шептал:

— Ну вот... почин сделан.

3

Было уже темно, лёт почти прекратился, редко слышались выстрелы, и откуда-то из болота Саша окликал Говорухина.

— Я тут, — отозвался он.

Перекликаясь, они сошлись, потом стали выбираться к машине.

— Ого! — удивился Говорухин связке дичи на поясе Саши. — А у меня только пяток.

— Видел, Павел Елизарыч, как вы отпугивали уток.

— Чем же это отпугивал?

— Застрелите утку и топаете за ней... Ну как мальчишка. Утки видят и не садятся около вас. Убитых подбрать всегда успеете.

— Мда-а, — тянет Говорухин. — Волнение, страсть... где тут потерпеть... Э-эх! Хор-ро-шо-о! Сейчас закусим, а то промялись.

— Налаживайте костер да воды принесите... только без ряски, чистой...

Пока Говорухин разжигал костер да ходил за водой, Саша обделал крякушу на шулюм — охотничий суп с пшеном, картошкой и луком. Потом они стали потрошить и подсаливать дичь.

— Сколько раз учить! — Саша вырывает из рук Говорухина утиную тушку, показывает, как надо делать.

— А что я, хуже твоего делаю?

— Хуже. Только портите.

— Ты просто придираешься.

— Чего мне придираться. Научить хочу.

— Научи лучше стрелять, открой секрет.

— Никаких секретов нету, Павел Елизарыч.

— В чем же дело? Столько патронов распулял, а результат...

— Все дело в ответственности.

— Не понимаю.

— Как бы вам это сказать... На охоте надо собрать себя всего в кулак, чувствовать ответственность перед кем-то за каждый выстрел, за каждый промах.

— Ну и скажешь! — Говорухин расхохотался, круглые плечи его сотрясались, голова раскачивалась. — Комик ты, Саша.

— Ничего не комик. Вот, к примеру, у меня на десять выстрелов два промаха. Я должен добиться, чтобы не было ни одного.

— Это немыслимо!

— Я читал, что Тургенев на вальдшнепиной охоте и то не делал промахов. А на уток охота ребячья... Только измаешься да вывозишься в грязи. Красоты в ней мало.

— Насчет красоты, пожалуй, ты прав. На вальдшнепа охота чистая, сухая, в золотом осеннем лесу... но очень трудно попадать... летит быстро. Ну, а что касается ответственности, то это слово ты прилепил не к месту. Какая на охоте ответственность! Это же развлечение. На работе — другое дело, там требуется ответственность.

— На ра-бо-те? — Саша резко повернулся к Говорухину, и тот увидел в лице его такое насмешливое выражение, что с любопытством ждал чего-то необычного. Но Саша только махнул рукой.

— Говори, чего ж ты.

— На работе все ваши промахи на подчиненных распределяются.

— Ты эту философию брось!

— А что? Критика — движущая сила нашего общества. Так ведь вы на собраниях говорите.

— Так ты на собрании и критикуй меня за работу, а не за охотничьи недостатки.

— Как же... критикнешь вас на собрании-то!.. Сразу в демагоги или в критиканы попадешь, в подрывщики авторитета...

— Ты, однако, нахал, Александр Николаевич.

— Зачем же обзывать! Я ведь вежливо говорю... К слову пришлось.

Некоторое время они молчат. Костер, потрескивая, освещает их мрачные, медные лица. Выпотрошенных и присоленных уток они развешивают на ветках дерева. Закуривают, каждый из своей пачки. Саша помещивает в котелке кипящий шулюм, наливает чайник, вешает над пламенем. Отойдя за машину, он смотрит в темноту. То тут, то там горят в ночи костры по берегам болот, пируют охотники. Саше и самому не терпится выпить ■

поест. Постояв немного, подумав, он достает из машины продукты, ставит перед Говорухиным:

— Раскладывайте, шулюм готов.

Говорухин оживляется, брови разглаживаются, руки раскидывают по земле брезент.

Лед в ведре растаял, но водка еще прохладна, шулюм на редкость вкусный, аппетит у охотников ненасытный, и они пьют, крикают, шумно дышат и громко жуют.

— Ты поваром случайно не был? — спрашивает Говорухин. — Уж так вкусно всегда стряпаешь.

— На охоте лапоть свари, так и его слопаешь.

— Ну, нет. Не кривя душой говорю, незаменим ты в таких поездках. На все руки.

Наевшись, курят, смотрят в костер. Потом долго пьют чай, натягивают марлевый полог от комаров и, положив в костер толстые валежины, заваливаются спать. Ночью они часто просыпаются, пьют пиво прямо из бутылок и снова засыпают...

Чуть свет Саша разбудил Говорухина. Натощак сходили они на болото, постояли на утренней тяге и позавтракали поспешно: надо торопиться домой, пока утки не протухли.

Как всегда Саша разложил уток на два рядка — один себе, другой Говорухину.

— Не надо, Саша! — запротестовал Говорухин. — Ты добыл двенадцать, а я шесть.

— Вся добыча пополам: таков охотничий закон.

Говорухин покорно сдается:

— Ну, ладно, раз охотничий закон.

Эта процедура дележа и этот разговор происходит на каждой охоте.

Уже светло. Все уложено в машину, залит костер, и можно ехать. Саша становится подобранным, деловито серьезным. Для него началась служба. Говорухин о чем-то думает и будто стыдится чего-то.

Через минуту они едут, покачиваясь от толчков машины на неровностях, иногда касаются друг друга плечами. Едут уже не охотники, а начальник и подчиненный. И каждый чувствует, что снова легла между ними грань и будет лежать до следующей охоты.

Содержание

Киря	3
Курган	28
Млечный Путь	49
Макар, телячий сторож	61
Люся	82
Кручина	105
Медовый месяц	131
На болотах	165

**Григорий Федорович
Боровиков**

**В ХВОЙНОМ МОРЕ
Рассказы**

**Редактор Л. Кулешова
Художественный редактор Н. Егоров
Технический редактор Л. Дунаева
Корректоры И. Русьянова, Н. Саммур**

**Сдано в набор 30/V—1977 г. Подписано к печати
22/XI—1977 г. А06788. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага
тип. № 2. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,16:
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1477. Цена 80 коп.**

**Издательство «Современник» Государственного комитета
Совета Министров РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4**

**Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск,
ул. Чкалова, 8.**

X. 1-60
96/5

13